

“Рецепт психического здоровья в психически нездоровые времена: читайте два раза в день, утром и перед сном, по одному эссе Льва Рубинштейна. И жизнь станет лучше. Уж во всяком случае веселей.

Борис Акунин

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН
ПРИЧИННОЕ
ВРЕМЯ

CoRpus

Лев Рубинштейн

Причинное время



издательство **АСТ**
Москва

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)-44
Р82

Фотография на обложке: ДМИТРИЙ АЛЕШКОВСКИЙ

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Рубинштейн, Лев

Р82 Причинное время / Лев Рубинштейн. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2016. — 480 с.

ISBN 978-5-17-097676-8

Поэт, один основоположников московского концептуализма Лев Рубинштейн — едва ли не самый известный российский колумнист последних лет. В коротких, точных и едких текстах автор дает исчерпывающую характеристику событиям, находит их причину и предсказывает последствия. Но важно не только это — тексты Рубинштейна, написанные по самым разным поводам, принадлежат настоящей литературе и формируют ее не в меньшей степени, чем его знаменитые карточки. И, как любая хорошая литература, настраивают зрение и слух так, что становится труднее пройти мимо подлога и фальши.

В книгу "Причинное время" вошли заметки, опубликованные на сайтах *Grani.ru* и *InLiberty.ru*

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)-44

ISBN 978-5-17-097676-8

- © Л. Рубинштейн, 2016
- © А. Бондаренко, художественное оформление, 2016
- © ООО "Издательство АСТ", 2016
Издательство CORPUS ©



Содержание

<i>Пролог. Причинное время</i>	9
--------------------------------------	---

словарный диктат

Словарный диктат	17
Петр у ворот	26
После бала	34
Судьба текста	42
Как важно быть серьезным	50
Двойная оптика	60
Не читал, но	68
Такая слива	77
Пена требует отстоя	85
На два слова	91

завинчивающаяся крышечка

Евровидение	99
Завинчивающаяся крышечка	108
Часы томительного бдения	116
Старые песни главных	122
Град без гада	127
Взрывоопасное слово	135
Признак бродит	141
Оглянись вокруг себя	146
Товар “Сталин”	153
Козлы и дети	159
Социальная группа “Они”	169
Собрание знаков	173
Филофобия	179
Служба по несовместительству	184
Хроника двора	191
Песня о гагаре	196
Скажите спасибо	200
Оценка “хор”	207
Выросла скрепка	212

кому война

Украинский акцент	219
Доски судьбы	223
Война и мир	230
Шуты с ними	237

Настройка на войну	243
Власть и оппозиции	248
Кому война	255
Мономентальная пропаганда	260
Нормальный ход	265
Начальники масштаба	270
Вечная зима	276
Морально-поэтические ценности	280
Не о Сталине	286
Бес обиды	294
На пару слов	298
Бестолковый словарь	303
Затерянный русский мир	310

роман с враньем

Воры вне закона	319
Пропагандистская кухня	323
Сантехник Потапов	328
Что слышно	333
На чужом веку	338
Приятных слов	343
Метафора всмятку	350
Минкульт предков	358
Сцены из нынешних времен	364
Роман с враньем	372
Способности по потребностям	379

вдруг выплывает

Хвостовство	389
За русский сыр	395
Алиса и мы	403
Вдруг выплывает	410
Книги и пляски	418
Пожатье каменной десницы	427
Или еще что-нибудь	433
Разные вещи	439
Принцип относительности	445
Осторожно: метафора	454
Комбижир	461
Изолента	465
<i>Эпilog. Будущее прошло</i>	471

Пролог

Причинное время

Я спросил недавно у Фейсбука: “Скажите, существует ли какой-нибудь специальный — ну, допустим, медицинский или психологический — термин для того типа логических построений, где следствия и причины меняются местами?”

Первобытному мышлению было свойственно устанавливать причинно-следственные связи по принципу “раньше — позже”. Вчера, допустим, грозой свалило большое старое дерево, а сегодня, допустим, у шестой жены вождя разболелся живот. Понятно же, почему это он вдруг разболелся. Не потому же, что вчера эта самая жена нажралась ка-

кой-то тухлятины! Вот еще! Упавшее дерево, конечно же!

То есть любое событие воспринимается как следствие происшедшего и как причина последующего.

Но это хотя бы какая-то логика! И на этой логике, по-своему стройной и цельной, основаны многочисленные, существующие и по сей день народные приметы, поверья, гадания, сонники, инструментальная актуальность которых напрямую зависит от стадии цивилизационного развития того или иного общества.

Меня, например, в свое время озадачило вот что. Когда я стал активно общаться с разными людьми из Западной Европы, я обнаружил, что никто из них — кроме исследователей фольклора — не знает никаких своих народных примет, подобных тем, что сопровождают всю нашу повседневную жизнь: про черных кошек, про пустые ведра, про то, что надо непременно посмотретья в зеркало, если ты, забыв что-то необходимое, вынужден вернуться туда, откуда только что вышел, про число 13, про “тьфу-тьфу-тьфу”, про “присесть перед дорожкой”.

Но вот когда последующие события объявляются причиной предыдущих — это я уже не знаю как и обозначить.

Когда, например, утверждается, что дождь пошел, потому что я раскрыл зонтик. Или наводнение случилось потому, что первый этаж дома вдруг оказался под водой. Или совсем уже хрестоматийное: “ветер дует оттого, что деревья качаются”. Или война в одной стране началась потому, что были введены санкции против другой, причем уже после того, как случилась эта самая война.

На мой “фейсбучный” вопрос стали приходиться ответы. Например, такой: “Магическое мышление» это называется. Лет до восьми детям свойственно”.

Детям-то да, это часто бывает свойственно, это правда. Я помню, как одна маленькая девочка говорила: “Вот за окном едут три пожарные машины. Наверное, сейчас где-нибудь начнется пожар”. Это была та же самая любознательная девочка, которая однажды поинтересовалась: “Если змея заползет в крапиву, то кто кого ужалит?”

Дети — это да. А вот когда взрослые...

Когда-то, уже довольно давно, мой товарищ и сверстник, художник и по совместительству боль-

шой знаток старых советских песен (знаток потому, что в школьные годы он, как, впрочем, и я, пел в школьном хоре), заметил одну удивительную вещь, странным образом ускользавшую от всеобщего внимания, в том числе и моего.

Припев одной довоенной песни, впоследствии почти позабытой, а в те годы довольно популярной, начинался так: “Мы с железным конем все поля обойдем. Соберем, и посеем, и вспашем”.

“Ты заметил, — спросил меня мой товарищ, — что здесь обозначена обратная последовательность сельскохозяйственных мероприятий, что по идее должно быть понятно даже городскому человеку? Так сказать, от последующего к предыдущему? Что будущее и прошедшее переставлены местами? Что это, в сущности, обратная перспектива, вроде как на иконе?”

Нет, я не заметил. И многие не заметили. Включая и тех, кто благословил эту песню к массовому употреблению.

А уж если эти взрослые не просто взрослые и даже не авторы массовых патриотических песен, исполняемых сводным армейским хором, а взрос-

лые, облеченные, кроме всего прочего, разными властными полномочиями. Это как?

Понимаю, что вопрос этот повисает в плотном воздухе тяжелым топором. И все же...

А также я понимаю, что небрежение причинно-следственными связями вроде как развязывает руки и вроде как открывает широчайшие (хотя и обратные) перспективы.

В довольно давнем моем поэтическом сочинении есть такое место: “Причинно-следственная связь распалась понемногу. И можно смело, не таясь, отправиться в дорогу”.

Что-то в подобном роде можно сказать и теперь.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАТ

Словарный диктат

Мой приятель-художник рассказал мне однажды о своем приятеле, тоже художнике, его однокурснике. Этот однокурсник, как в те времена было свойственно многим молодым людям, в той или иной мере связанным с искусством или с поэзией, был одержим темой гениальности и прочей “великости”. “Ты, старик, гений!” — говорилось в те годы практически по любому, иногда и самому незначительному поводу. Или: “Познакомься. Это мой друг Сережа Васильев. Великий поэт, между

прочим. А это мой друг Валера. Кстати, великий художник”.

Я помню, как один остроумный человек после того, как ему представили очередного великого поэта, сказал: “Ну, великий — это ладно, это понятно. А стихи-то у него как, ничего? Читать-то можно?”

Так вот, тот самый однокурсник однажды женился. Женился вроде как вполне счастливо.

Но буквально через пару недель после веселой шумной свадьбы мой друг встретил его на улице сильно пьяным и заплаканным. “Что случилось?” — спросил он. “Я сегодня узнал, что моя жена не считает меня гением, — сквозь нетрезвые слезы сказал тот. — Я понял, что она меня не любит. Она, правда, говорит, что любит, но она не считает меня великим художником и не гордится мной. А просто любит. Но какая же это любовь!”

Я вспомнил этот забавный, хотя и по-своему драматичный эпизод потому, что эти три ключевых понятия: величие, гордость и любовь — выделяются также и из нынешней официальной риторики и тоже, хотя и не вполне очевидными причинно-следственными узелками, связаны между собой.

Вот какая-то депутатка сказала однажды, что главной, а может, и единственной задачей единого учебника истории является формирование чувства любви к своей стране и гордости за ее славное прошлое.

Начнем, пожалуй, с “любви” — это как-то приятнее во всех отношениях.

Представляю себе, как юная девушка-старшеклассница приходит в районную библиотеку и, слегка розовея, говорит: “Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь про любовь”. — “Понимаю. Одну минутку”, — слегка улыбаясь, ностальгически вздыхая и вспоминая собственную юность, говорит пожилая отзывчивая библиотекаря и снимает с полки единый учебник истории.

Учебник истории, оказывается, не про историю. Он — про любовь. Рассказанная на примерах из исключительно славного прошлого *love story*. История любовных отношений между народом и государством. А то, что любовь эта носила и носит исключительно односторонний характер и что ее довольно затруднительно назвать разделенной, так что с того. Любовь, как известно, зла. Иногда до полной свирепости.

И в том, что эта самая вполне абстрактная “любовь” реализуется, как правило, не столько в форме любви к родному, допустим, пепелищу или, например, к отеческим гробам, сколько в различных формах вполне отчетливой, хотя и иррациональной ненависти — ненависти к другому, к чужому и непонятному, — тоже нет ничего особо противоречивого. Давно известно, что два этих сильных чувства близкородственны, что одно от другого располагается, как теперь говорят, в шаговой доступности.

В обыденной человеческой жизни любовь и гордость находятся в непростых отношениях. Иногда они друг другу противоречат. “На свидание собралась? Ну ладно, иди уж. Только смотри, не приходи поздно и, главное, не теряй гордости”, — наставляет строгая, выдавшая разные виды мамаша свою неопытную дочь. “Казаться гордою хватило сил”, — поется в старой лирической песне про “ромашки спрятались”.

Но то все другая любовь и другая гордость. А государственная любовь и верноподданническая гордость — это совсем иное.

Но и тут дама-депутат, разумеется, что-то сильно напутала. Или же ее кто-то коварно обманул.

И учебники истории, и сама история нужны во все не для того, чтобы гордиться. Но и не для того, чтобы проклинать или стыдиться. Чтобы гордиться или проклинать, не нужна никакая история и никакие ее учебники. Зачем они? Садись на стул, ставь перед собой портрет или вешай на стенку географическую карту и гордись сколько влезет. Ну, или, наоборот, бранись всеми доступными словами.

История же нужна человеку и обществу для того, чтобы знать и понимать. Знать и понимать, что происходило, что происходит теперь и что может в дальнейшем произойти с нами, вокруг нас, после нас. А знание и понимание пусть себе уже конвертируются либо в гордость, либо в гнев, либо в стыд. Это уж, как говорится, зависит. И даже, признаться, немного совестно повторять столь очевидные вещи. Но приходится, что делать.

Ну, и “величие”, конечно. Величие, с чьей мощной разрушительной силой никакие “любовь” с “гордостью” соревноваться не в силах.

Державно озабоченные мыслители на разные лады, по разным поводам и с разными интонациями бесконечно тиражируют знаменитую фразу Петра Столыпина про “великие потрясения” и про

“великую Россию”. И про то, кому и что из этого нужно.

Не знаю, кому как, но большинству вменяемых людей никакие особенные потрясения точно не нужны. Хоть великие, хоть малые. А нужно совсем другое. Но беда в том, что насущная, как воздух, необходимость этого *другого*, из века в век задавливаемая неподъемным грузом “величия”, но все равно ищущая выхода, время от времени взрывается теми самыми потрясениями, которые якобы кому-то нужны.

И потому эта разболтанная до полной непригодности конструкция, постепенно ставшая тем, что в лингвистике называется “порождающей моделью”, легко преобразовывается в другие, более конкретные построения:

- Вам нужны гражданские свободы?
- Вам нужны честные выборы?
- Вам нужны независимые состязательные суды?
- Вам нужны конституционные права?
- Вам нужно уважение к международному праву и соблюдение международных законов и договоров?

— Вам нужна свобода волеизъявления? Свобода слова, печати, мирных собраний? Свобода творчества?

— Вам нужно, чтобы власть не врала и не воровала?

— Вам нужны достойная медицина и достойное образование?

— Вам нужно соблюдение норм современного светского государства?

— Вам нужна полиция, не попирающая, а защищающая права граждан?

— Вам вот это все нужно? Ну-ну. А нам вот нужна великая Россия. Понятно?

Нет, непонятно. Потому что непонятно, чем, кроме избытка легковоспламеняющихся горючих веществ и легковоспламеняющейся войны, можно заполнить это самое “величие”, эту безразмерную, пустую, гулкую емкость, в которой нет места всему выше перечисленному и еще многому другому.

Навязчивая и неутолимая похоть “величия” не может слишком долго скрываться под рыхлым культурным слоем, как клоп под подушкой.

Я понимаю, конечно, что сопоставление абстрактного и пышно звучащего понятия с небольшим вредоносным насекомым может выглядеть не-

сколько натянутым. Согласен. Но есть все же между ними нечто общее, что кажется существенным.

Во-первых, у многих соотечественников моего поколения и то и другое равно ассоциируется с далеким коммунальным детством, когда радиоточка, питавшая и возвышавшая нежные души неумолчными заклинаниями о величии родного государства, висела на стене, густо покрытой бурными клопиными пятнами.

Но объединяет их еще и то, что существование как того, так и другого невозможно без человеческой крови. Ни то ни другое нежизнеспособно без кровавого рациона.

Впрочем, “величие” — не вполне пустое слово, пустых слов не бывает. Помимо блуда величия, не отмеченного и не обеспеченного ничем, кроме непропорционально раздутых жабр, существует все же и величие замысла, и величие мысли, и величие духа, и величие повседневного жеста или поступка.

Я где-то прочитал однажды о том, что на одной из улиц одного небольшого городка в одной из стран (не помню, в какой, да это и неважно; точно, что не в нашей) поселилась семья, в которой был глухонемой ребенок. По этому случаю все *(все!)*

жители этой улицы приняли решение срочно выучить язык глухонемых, чтобы иметь возможность общаться с этим мальчиком.

Прочитав это, я подумал, что если и бывают случаи, когда такие слова, как “любовь” или “гордость”, совсем не нуждаются ни в каких кавычках, то именно в этом или в подобных случаях. И что если без слова “величие” обойтись никак невозможно, то примерно это оно, собственно, и значит. А больше, в общем-то, — ничего.

Петр у ворот

Целый день, а то и два я мучительно не хотел высказываться на эту тему. Даже коротко. Даже междометием. Никак не хотел. И сам не понимал, почему.

Когда сразу же многие (очень многие) кинулись обсуждать (осуждать, восхищаться, критиковать, издеваться) эту горящую дверь и ее автора и постановщика, было еще совсем не ясно, что это всего лишь начало. Что это всего лишь нечто вроде поднятия занавеса — пусть даже и очень эффектного.

А представление между тем только началось.

Я это понял окончательно, когда дело дошло до суда.

Я не хотел высказываться, но зато заворуженно следил за развернувшейся многоголосой полемикой, в которой иногда слабо угадывался обнадеживающий контрапункт, а иногда лихо хлестала заставлявшая зажимать уши отчаянная какофония.

Самое трудное и мучительное, хотя и необходимое, в восприятии и понимании (или хотя бы попытке понимания) новых, до недавнего времени незнакомых художественных практик — это однозначное обозначение жанра. А потому и жанр происшедшего определялся в этой разноголосице самым разнообразным образом в зависимости от степени его принятия или неприятия: “подвиг”, “поступок”, “жест”, “акция”, “выходка”, “высказывание”, “преступление”, “событие”, “инцидент” и прочее.

Неменьшим разнообразием отличались и эпитеты: “героический”, “психопатический”, “красивый”, “хулиганский”...

Очень часто звучали неизбежные в подобных случаях конструкции, начинающиеся со слов “а если бы”. “А если бы там, внутри, оказались люди? Например, ночной сторож..” А, ну да. Ночной сто-

рож. Дядя Вася. В валенках и телогрейке. Прирабатывающий к пенсии ночным сторожем в ФСБ. Скорее всего, ага.

А если бы в кинотеатре во время сеанса рухнула бы люстра? А если бы во время детского спектакля кто-нибудь из детей так напугался бы Змея Горыныча, что навсегда остался бы зайкой? А если бы я, зачитавшись книжкой, не заметил бы, как из ванны перелилась бы вода? На каждом шагу подстерегает нас великое множество различных опасностей, так или иначе связанных с искусством и литературой.

Или: “А если бы вашу дверь...”

А почему вдруг мою, а не вашу, например? Шучу, шучу — вашу тоже не надо. Но мы ведь с вами не государственные учреждения, согласитесь? Не карательные же мы с вами органы? Я-то во всяком случае — точно.

“Тогда где разница между искусством и обыкновенным хулиганством? Между искусством и террористическим актом?”

Ну, она — при некоторых внешних формальных сходствах — как минимум в том, что терроризм или хулиганство непременно связаны с насилием над человеком или — как минимум — с угрозой

человеку, его здоровью, его достоинству. А в акционистском искусстве если и бывают жертвы, то этой жертвой становится сам художник. Видите разницу? Нет? Жаль.

Человеку, склонному сближать или идентифицировать различные явления по исключительно внешним, формальным признакам, объяснить эту разницу довольно трудно. Но надо.

А потому главным вопросом становится вопрос: это искусство или не искусство. Это искусство или хулиганский поступок? Это искусство или выходка психопата? Это искусство или политический акт?

Одной из важнейших и серьезнейших задач современного искусства является вполне просветительская по сути задача не только провести и обозначить, но и постараться объяснить очевидную не только для специалистов границу между территорией искусства и территориями социальной, религиозной или частной жизни. Цель этой задачи — постараться объяснить, что воспринимать и оценивать то и другое неправильно и невозможно, исходя из одного и того же набора критериев.

Существует особый род художественной практики, когда отдельный жест сам по себе кажется

лишенным и смысла, и формы. Именно это обстоятельство позволяет многим третировать это искусство как “элементарное неумение что-либо нарисовать”, как “судорожное стремление во что бы то ни стало заявить о себе”, как не искусство вовсе. Однако и форму, и смысл, и значение, и пафос это искусство обретает лишь в контексте — историческом, культурном, социальном, дискуссионном. В данном случае еще и в политическом.

Время от времени в истории искусства и в истории народов и государств случаются короткие замыкания, при которых эти границы на короткое, но необычайно запоминающееся время исчезают вовсе, и тогда художественный, социальный, нравственный жесты становятся неотличимы друг от друга.

Когда говорят о “подвиге художника”, то чаще всего понимают это метафорически. Но метафоре время от времени свойственно материализовываться, оставаясь при этом метафорой. И это один из таких случаев. Это тот случай, когда формулы “служение искусству как гражданский подвиг” и “гражданский подвиг как служение искусству” не противопоставлены, а сопоставлены друг другу. Когда художественный акт воспринимается как гражданский по-

ступок, а гражданский поступок как факт истории искусства. Когда многозначительной и символической становится любая деталь, даже та, что ворота ада пометил жертвенным огнем и загородил своим телом человек по имени Петр.

Отдельного внимания заслуживает дискуссия, развернувшаяся непосредственно в экспертном, то есть в художественном сообществе. Там есть самые разные высказывания — от очень интересных и глубоких до вполне идиотских или — в лучшем случае — поверхностных. Там есть разные оценки — от безусловного восторженного одобрения до порицания в лучшем случае, а в худшем — глумления или насмешки.

В некоторых высказываниях ощущается плохо прикрытая рассуждениями о “прекрасном” ревность. И это как раз понятно. Художник — существо, как правило, эгоцентричное, и ему трудно принять, что кто-то другой делает то, на что бы сам он не решился, даже если бы и захотел. Такой художник говорит: “Ну, и чего он добьется? Ну, сядет, дурачок, а ведь многое мог бы сделать”. Или: “Это, разумеется, акт отчаяния того, кто не сумел стать настоящим художником”. Или: “Ладно бы он сделал

плохо только себе. Но ведь и другие пострадают. Вот возьмут, например, и закроют нашу галерею”. Или: “Эта акция эстетически слабовата, потому что... Вот я бы, если бы...” Ну, и так далее.

Вообще-то в этой, как сейчас говорят, резонансной акции участвовал и участвует не один художник. В ней азартно участвуют все обсуждающие и спорящие. В ней участвуют судьи, прокуроры и адвокаты, ведущие просветительскую работу среди судейских работников. В ней с самого начала активно участвовали правоохранительные органы, обозначившие свое участие, а возможно, и сочувствие к художнику своим блистательным — долгим и деликатным — отсутствием на месте события, как бы давая понять: “Ты, парень, закончи, что начал. Не торопись. Сделай все как следует. Мы уж подождем. Ну, а потом уж задержим тебя, как положено. Служба, ничего личного”.

Участвует, как говорят в цирке, вся труппа.

Важнейшей задачей художественного акта является создание коммуникативной, дискуссионной ситуации, силового поля вокруг него. Ситуация создана, да еще какая! И она обречена на саморазвитие.

И совсем даже не важно, какие суждения о художнике и созданном им событии высказывают те, кто говорит и еще будет говорить об этом. Важен и убедителен сам факт этого говорения. И он свидетельствует о том, что художник победил. Уже победил, каким бы ни был дальнейший ход и исход судебного зрелища. Впрочем, это и без того понятно, потому что художник всегда побеждает.

После бала

Страсти все не утихают. Оно и понятно: тема и правда болезненная. Она, эта тема, — тема “гибридная”, как и все прочее теперь: гибридная война, гибридный мир, гибридная история, гибридная память. И всё, как всегда, свалено в одну кучу — совершенно искренние и действительно возвышенные чувства самых разных людей, привыкших понимать это событие как исключительно семейное дело, и разухабистый “пир победителей”, победителей непонятно кого и чего.

К сентиментальности я отношусь неплохо. Более того, я и сам вполне сентиментален. Сентиментальность, если она не сопровождается надрывной крикливостью и ударяющим в нос дурновкусием, несет в себе катарсический потенциал. А мелодрама — это вовсе не низкий жанр, это младшая сестра трагедии, в счастливых случаях поднимающаяся до ее подлинного и очистительного, а не ложного, симулируемого пафоса.

То, что власть всегда использует частные человеческие чувства и светлые человеческие порывы, человеческий энтузиазм и жертвенность в своих исключительно шкурных и неблагородных, мягко говоря, целях, давно известно. Это, можно сказать, общее место.

Я в данном случае о другом. О тех самых “дедах”, которым “спасибо за победу”.

Это сейчас они “деды”, а для кого-то и “прадеды”. Это сейчас их стало удручающе мало. И вполне понятно, что по мере их убывания и, чего уж там, постепенного исчезновения эти вполне реальные — живые или ушедшие — люди превращаются в общественном и индивидуальном сознании в черно-белые картинки, покрытые густым, при-

торным и не очень прозрачным лаком. Это неизбежно, как неизбежно отчуждение реальной и не всегда аппетитной истории в удобный для употребления миф.

Я уже говорил, и не один раз, о том, что люди моего поколения, для которых “деды” были “отцами”, “дядями” и “тетями”, видят это все не вполне так же, как это видят те, кто помоложе.

Я рос среди фронтовиков, они были повсюду. И никакого специального отношения к ним не было. Что было вполне естественно: они всего лишь принадлежали к тому поколению, на голову которого упала война. Так уж случилось.

Они были совершенно разные — умные и глупые, добрые и жестокие, благородные и подлые, щедрые и жадные, красивые и уродливые.

Вокруг меня было очень много инвалидов — это воспринималось как часть нормального и привычного антропологического ландшафта. Вокруг меня было очень много тяжелых и иногда очень шумных и скандальных алкоголиков.

Я в изрядных количествах видел в электричках и на рынках так называемых “самоваров”, грохотавших на своих маленьких платформах-подставках

с подшипниковыми колесиками. Такими же точно колесиками гремели по тротуарам самодельные мальчишеские самокаты.

Я слышал вокруг себя много разговоров и рассказов про военный быт. Мне, выросшему на книжках про героев вообще и про пионеров-героев в частности, он казался предательски непривлекательным.

Фронтовики клубились около пивных точек. Они ругались, обнимались, пели хриплыми голосами. Я слышал, как один из них рассказывал другому о том, как он был в плену. “У немцев там был порядок знаешь какой? — с непонятым мне почтением говорил он. — Не то что у нас. Там не посачкуешь. Там тебе быстро...”

Я слышал, как подвыпившие фронтовики вслух костерили “сук-особистов”. А ведь это было небезопасно тогда.

Я помню учителя физики Николая Кузьмича, про которого говорили, что он “контуженый”. Значение этого слова стало окончательно понятным для меня в тот момент, когда он за мое плохое поведение запустил в меня тяжелой стеклянной чернильницей, но, к счастью, не попал. Помню, как притих класс

и я вместе с ним. Помню, как по задней стене класса разлилось огромное чернильное пятно. Помню.

Я много слышал в те дни про “Ташкентский фронт”. Для носителей концепции “Ташкентского фронта” было тогда, в начале 50-х годов, время самое благоприятное.

Тогда же я в первый и последний раз увидел дерущимся своего отца, человека крайне невоинственного и к тому же некрупного. Услышав в очереди в билетную кассу от пьяноватого мужика что-то про “Ташкентский фронт” и про то, что “я за вас, гадов, кровь проливал”, отец немедленно двинул мужику по уху. Тот среагировал неожиданно. Он почесал ухо и совершенно миролюбиво заинтересовался: “Воевал, что ли?” — “Да уж воевал, — ответил отец. — Ленинградский фронт. Слышал про такой?” — “Ну, слышал, — с некоторой даже обидой в голосе сказал мужик. — Чего ж сразу драться. Пойдем лучше выпьем. У меня есть”. От приглашения отец твердо уклонился. Расстались не сказать чтобы друзьями, но мирно. Я потом спрашивал у отца, что это за такой “Ташкентский фронт”. Он ответил как-то невнятно, сказав всего лишь: “Да дурак просто”, но я почему-то понял.

Да и вообще в то время постоянно, как пароль и отзыв, звучал мотив “ты где воевал?”.

Вот и к моему дяде, маминому брату, носившему в те годы форму полковника танковых войск, подсел как-то в электричке мужичок в телогрейке и сказал: “Я тоже танкист. А ты, полковник, где воевал-то?” — “Нигде”, — честно ответил дядя. “А! В тылу, значит, сидел?” — “В тылу”. — “А где же?” Тема “Ташкента” в этот раз, слава богу, не прозвучала. “В Челябинске”, — ответил дядя. “А чо ты там делал-то?” — не унимался бывший танкист. “Да я там танки конструировал”. — “Танки? Ну, тогда ладно”. Дядя Вова действительно был автором какого-то важного двигателя.

У некоторых наших ребят, которые были постарше меня лет на пять и больше, отцы погибли на фронте. Это была для них не то чтобы гордость, но как-то прибавляло к ним уважения, что ли..

Когда я в 54-м году пошел в первый класс, мальчики, конечно, на первой же перемене стали знакомиться друг с другом и рассказывать что-нибудь о своих братьях, сестрах, родителях.

Оказалось, что отцов нету у двоих.

Первый из них (почему-то я запомнил, что его звали Боря Кузнецов) сообщил, что его отец умер в прошлом году. Когда кто-то из нас осторожно спросил, отчего же он умер, Боря безмятежно сообщил, что он в Пасху объелся крутыми крашеными яйцами. Ну, и помер.

Второй же — причем довольно бодрым голосом — сообщил, что его отец погиб на фронте. Мы все уважительно помолчали.

Когда я в тот же самый вечер сообщил дома, что у одного моего одноклассника отец погиб на фронте, я не мог понять, что взрослые нашли в этом смешного. Хороший смех! Человек погиб на фронте! Ни фиги себе!

А живые фронтовики, повторяю, были совсем разные: интеллигенты и хамы, жулики и милиционеры, военные и гражданские, увечные и целые-невредимые, трусы и герои — всякие.

Поэтому у меня, человека своего поколения, нет и не может быть какого-то специального, какого-то особенного отношения к “дедам”. Да, на их поколение упал этот страшный груз. Да, их поколение справилось с этим грузом. И именно потому, что оно справилось и устояло, появилось на свет и сле-

дующее поколение, то есть мое. И именно поэтому моя благодарность за это рукотворное чудо столь глубинна, столь интимна, столь естественна и столь, если угодно, обыденна, что она не требует никаких доказательств и никаких отдельных формулировок.

Поэтому мне ни за что не пришло бы в голову выразить эту свою благодарность посредством огромных букв на заднем окошке автомобиля.

Да и автомобиля у меня нет.

Судьба текста

Почему в нашей истории и в нашей жизни все происходит именно так, а не иначе? Почему мы обречены на то-то и на то-то? Почему мы не воспользовались таким-то и таким-то шансом? А вот если бы вдруг, то как бы было? И как вообще надо понимать историю? Если она, история, это текст (а она, разумеется, текст), то какой — данный нам изначально и творимый без нашего непосредственного участия или все же рукотворный, в щелочку или в складочку которого каждый имеет пусть даже

и призрачный шанс засунуть скомканную бумажку со своим именем?

Понимание истории как текста породило вечную, как сама история, столь же увлекательную, сколь и бесплодную игру в сослагательность. Эх, почему такого-то не утопили сразу после рождения? А что бы было, если бы такой-то умер не в тридцать семь лет, а дожил бы хотя бы до семидесяти? А если такой-то дожил бы до революции, что бы с ним было? А что было бы со страной и миром, если бы брата такого-то не казнили, а помиловали? А если бы отец такого-то не пил и не лупил бы его по выходным, а играл бы с ним в шахматы и водил по музеям, то что бы могло стать потом с ним, со страной, со всеми нами?

Получается, что история — это сплошная цепь упущенных возможностей. Так и есть, я думаю. Но и любая частная биография (а она, в общем-то, тоже история) — тоже. И в ней, как и в истории, не бывает мелочей. Просто мы не все запомнили. А все то, что мы помним, это точно не мелочь. Потому что то, что интересно, то мы и помним. А то, что мы помним, то и интересно.

Именно из бесконечной череды потерь и упущенных возможностей и состоит наша жизнь. Именно они и лежат в основе того, что мы называем опытом.

Вот, допустим, три маленьких, легкомысленных на первый взгляд истории из моего детства, не связанных между собою ничем, кроме того, что каждая из них — именно об этом.

Сначала я вспомню о том, как в десятилетнем возрасте я подвергся хирургической операции. Мне вырезали гланды. Потому что я постоянно болел ангинами. И доктор Тигран Арамович Мхитарьян, к которому меня привели на консультацию, сказал, что надо удалять.

Надо так надо. И я лег в больницу. Как раз к этому самому Тигран Арамычу.

Он был мужчина колоритный. Пациенты относились к нему с пиететом. Не только потому, что он считался выдающимся хирургом, признанным специалистом по трепанациям черепов.

Мужики в моей палате с трепетом рассказывали, как однажды он зашел в палату в дурном расположении духа. Увидев, что трое пациентов, которым предписано было лежать и не шевелиться, играют

в карты, он взял с тумбочки всю карточную колоду и одним движением разорвал ее пополам.

Он-то меня и оперировал. Я запомнил, как сквозь марлевую повязку торчали его жесткие усы. И еще помню, что во время операции он пел. А больше ничего не помню.

Я заставлял себя не бояться. Во-первых, я все-таки вырос на книжках про пионеров-героев, которые молчали, когда их пытали в гестапо. Но не это было главное. Главное было другое: мама обещала, что сразу же после операции она принесет мне полную сумку мороженого и я съем его столько, сколько захочу.

Операция закончилась довольно быстро. Меня провели в палату, где я залег с мучительной болью в горле. Это было покруче всякой ангины.

Пришла мама. Она не обманула. Она действительно принесла мне как минимум четыре порции мороженого. Или даже пять. Она улыбалась. Она говорила: “Вот видишь! Я же обещала!”

А я, который не мог говорить, лишь махнул рукой в том смысле, что “не хочу я никакого твоего мороженого”, повернулся лицом к стене и заплакал.

Заплакала и мама. Посидела еще немножко и ушла со своим, то есть с моим, так и не съеденным мороженым.

На второй день мне дали мерзкий бульон совсем без соли (такая диета), а на третий я уже оказался способным прийти в неопиcуемый ужас от одной мысли, что я смог отказаться от собственного счастья — от мороженого. И не просто от мороженого. Это бы еще полбеда. А именно от **МОРОЖЕНОГО В НЕОГРАНИЧЕННЫХ КОЛИЧЕСТВАХ**.

Как такое вообще могло со мной случиться!

Вторую историю, которая, если угодно, имеет некоторое отношение к искусству, точнее — к вечно волнующим нас судьбам утеранных, сожженных в печке или незавершенных шедевров, я бы назвал “Неоконченная симфония”.

Она такая.

Однажды весной, под самый конец учебного года, наш 9-й “А” класс на один день отправили в близлежащий колхоз, в рамках введенного в те годы “производственного обучения и трудового воспитания учащихся”.

Колхоз назывался почему-то “Соревнование”. Странное, согласитесь, название.

Что там надо было делать, я уже не помню. Кажется, ничего. Ну, или веточки, что ли, на яблонях обрезать? В общем, не помню.

А помню я другое. Из области искусства, как я и предупреждал. Точнее — поэзии.

Помню, что с другом Смирновым мы почему-то решили сочинить “озорную” частушку про колхозную жизнь. Такие иногда передавали по радио. Так они и назывались — “озорные частушки”. Там иногда продергивали непутевого бригадира или нетипичного, но, к сожалению, все еще имевшего место колхозного лодыря и прогульщика.

Договорились так: я сочиняю начало, а он конец. Я довольно долго размышлял, а потом придумал:

К нам приехал агроном,
Весь измазанный говном.

А Смирнов стал так яростно хохотать, безжалостно хлопая себя по коленке, что о каком-либо завершении шедевра нечего было и мечтать.

Так и осталось.

Ну, и еще один сюжет, тоже об упущенных возможностях.

В годы моего детства по нашему двору расхаживал такой Женя — человек по возрасту уже довольно взрослый, но с умственным развитием примерно четырехлетнего ребенка.

Несмотря на свойственную детским коллективам стайную жестокость, его не обижали и не дразнили. Он был добрый. Он мог просто подойти и погладить тебя по рукаву или по голове.

Разговаривать с ним было трудно. Точнее — невозможно. Сквозь сплошную и временами бурную глоссолалию лишь иногда прорывались отдельные членораздельные слова. Его понимали лишь его родители и младшая сестра Вера.

Однажды он подошел ко мне и, заманчиво похлопав себя по карману пальто, спросил: “Ундрымогу хочешь?” — “Нет! — испуганно и торопливо сказал я. — Не хочу!”

И он развел руками и ушел, что-то то ли бормоча, то ли напевая.

И почему я отказался тогда, ума не приложу. Сейчас бы ни за что не отказался, мне кажется. Как же мы боимся непонятного!

И как же мы не можем избавиться от иногда мучительных, а иногда нелепых и легковесных воспо-

минаний обо всем том, что, как нам кажется, могло бы повернуть нашу частную жизнь и нашу общую историю по какому-то иному руслу. И почему нам всегда кажется, будто бы то, что могло с нами произойти, но не произошло, непременно было бы лучше, достойнее, правильнее того, что было и есть?

Да, и биография, и история — это текст. Но это такой текст, в котором ничего нельзя исправить. И его нельзя переиздать в исправленном и дополненном виде. Это тот случай, когда “из песни слова не выкинешь”, когда “вылетит — не поймаешь”, когда “не вырубишь топором”.

Исправить ничего нельзя. А помнить — необходимо. Поучительна ли наша память? Разумеется, поучительна и даже спасительна. Дает ли она гарантии от повторения глупостей и злодеяний? Нет, конечно. Наша память, собственно, именно об этом и свидетельствует. Ну так и что с того? Текст-то все равно продолжается.

Как важно быть серьезным

Существует такое понятие, как “звериная серьезность”. В наши дни, как это время от времени случается с метафорами, это понятие обретает почти буквальный, а иногда, прямо скажем, и зловещий смысл.

Серьезное и смешное туго переплетены и перепутаны, особенно теперь. Манифестированная, натужная и надрывная серьезность всегда смешна. Но когда ее становится слишком много, то уже и не очень.

Вот, для примера, такое, уже довольно давнее, сообщение из новостной ленты: “Депутат такой-то

предложил изменить дизайн 100-рублевой купюры из-за оголенного Аполлона, изображенного на ней". Видимо, более эффективного способа укрепления шатающейся, как старый забор, российской валюты не нашлось.

Ну что ж, хотя бы это...

Но это уже почему-то совсем не смешно. Примерно так же бывает иногда, когда долго сидишь за общим столом с человеком, который беспрерывно шутит и каламбурит. И ты уже с некоторой тоской ожидаешь чего-то очередного. И смеешься уже скорее из вежливости. Даже если шутки вполне удаются.

Беспрерывный, не дающий нам возможности перевести дух поток подобных новостей вообще-то необычайно опасен. Прежде всего тем, что мы рискуем в результате всего этого совсем лишиться чувства юмора. А это самое, пожалуй, неприятное, что может с нами случиться. На нем, на этом чувстве, все-таки держится если не все, то очень многое.

Впрочем, в наши дни наблюдается массовая атрофия всяческих чувств — сострадания, справедливости, собственного достоинства, юмора.

Даром что все чаще слышатся слова об “оскорблении чувств”. Да полно вам! Можно ли оскорбить то, чего нет? Впрочем, нет — одно из чувств все-таки живет и чувствует себя все бодрее. Это чувство ненависти.

Повышенная серьезность, особенно по отношению к самому себе, свойственна фашизоидному типу сознания. Там всякая улыбчивость, ироничность, рефлексия считаются чем-то чуть ли не женственным, чем-то “бабским”. Там вовсю культивируется наружная “мужественность” с ее склонностью к униформированности, военизированнойности, ко всяческим житейским или фразеологическим пошлостям вроде того, что “в наших жилах течет кровь, а не вода”. Там культивируется презрение ко всякой поведенческой ненормативности, ко всякой приватности и особенности. Там любят свою повседневную жизнь окружать и оформлять товарным количеством фетишей, символов, знаков и значков, флажков и ленточек, без которых хотя бы даже призрачная уверенность в себе, в своих силах, возможностях, способностях сводима к нулю.

И, конечно, необычайно высоко там ценится оперное “геройство”.

Между героизмом и геройствованием есть очень существенная разница. А если точнее — то эти два понятия противоположны друг другу.

Подлинные герои новейшего времени — такие, каким был, например, академик Сахаров, — их наружность, их интонации, их стиль общения и повседневного поведения, были на редкость не “геройскими”, они на корню разрушали всякие школярские представления о том, какие бывают “герои”.

Поэтому такие люди всегда смешат и раздражают дураков. Для дураков герой — это какое-нибудь мрачное, обвешанное воинственными полосатыми ленточками и бусами из тигриных зубов потное чучело в камуфляже.

Подростково-приблатненное сознание понимает героизм прежде всего как наружные атрибуты всевозможной пацанской крутизны.

Гадкие подростки уважают бицепс, нарядную фикса, перышко с наборной рукояткой, скучающий презрительный взгляд, медленную внушительную речь, снайперский плевков сквозь дырку в зубах.

А пожилую близорукую учительницу они презирают всей своей тухлой душой. Они открыто

смеются над ней и безнаказанно делают непристойные жесты перед самым ее носом.

Вот и наши, так сказать, законодатели. С одной стороны, их законотворческие телодвижения часто бывают гомерически потешны. А чего в них все же больше — глупого или подлого, — не всегда можно с ходу определить.

Но сами-то они этого не подозревают и, кажется, не ведают о том, как их “гэги” воспринимаются со стороны. Потому, скажем, столь обаятельны бывают наши “четвероногие друзья” — кошки и собаки, что они иногда ведут себя ужасно смешно, вовсе не подозревая об этом. Они бывают очень смешными, потому что они очень серьезны. То же свойственно и маленьким детям в той волшебной стадии, когда они начинают овладевать речью.

Но между детьми, кошками, собаками, морскими свинками с одной стороны и членами депутатского корпуса — с другой есть одна существенная разница: маленькие дети, а также кошки, собаки, львы, орлы и куропатки, не говоря уже о рогатых оленях, не принимают федеральных законов и, тем более, не претендуют на то, чтобы их “законы” были бы обязательны к исполнению. Будучи людьми

безысходно серьезными и катастрофически неспособными к самоиронии, они свято убеждены в том, что их глубокомысленные, исполненные государственной озабоченности лица смотрятся приличнее, чем, например, микроскопическая, различимая лишь зорким и бдительным депутатским глазом гипсовая пиписька сторублевого Аполлона.

Любое высказывание, любое коммуникативное поведение, лишенное признаков рефлексии, является необычайно скоропортящимся продуктом. Оно превращается в самопародию практически мгновенно.

Смешное и пародийное далеко не всегда невинно, далеко не всегда безопасно.

Вот, например, необычайно расплодившиеся в наши дни носители имперско-воинственного дискурса в обычной, в нормальной исторической ситуации были бы просто смешны. В ситуации же всеобщей пороховой взвинченности они еще и реально опасны.

Пытаться разоблачать содержательную или фактологическую составляющую их риторики — занятие неблагодарное и едва ли не более бессмысленное, чем сама эта риторика.

И можно, и нужно разоблачать, подвергать деконструкции их речевое поведение, их интонации, их пластику, выражения их лиц, их жестикуляцию. Ибо все это в совокупности и во взаимодействии собственно и есть содержание. А другого и нет, даже не ищите.

Там, где звериная серьезность, там же и ее близкая родственница, которую принято называть “пошлостью”.

Кто-то из умных людей заметил, что пошлость по прошествии времени становится стилем. Мне нравится эта мысль, и я ее вполне разделяю. Но я все же к ней, к этой мысли, кое-что добавил бы.

Да, пошлость рано или поздно становится стилем. Но только в том случае, если по дороге к “стилю” она не успеет преобразоваться в “кровь и почву”, в “обострение классовой борьбы”, в “Русский мир”, в смерть, в разрушение, в войну.

Именно поэтому столь насущен хотя бы приблизительный общественный договор, хоть как-то регулирующий общественные представления о стиле и о пошлости и, главное, об их фундаментальном различии.

Да только откуда бы этому договору взяться, если многие из тех, кому просто по профессиональной обязанности положено распознавать эти границы, с детским щенячьим восторгом ныряют в мутную стихию кромешной пошлости.

Знаю, знаю — кто-то непременно спросит: “А с чего это вы решили, что именно вы вправе определять, что есть пошлость, а что нет?”

Согласен, это аргумент неоспоримый. Я не шучу.

Потому что я действительно не знаю, чем на это ответить. Ну, разве что словами Чехова, который в одном из своих писем, не помню, кому адресованному и по какому поводу, написал: “Я знаю, что Шекспир писал лучше, чем Златовратский, но я не могу этого доказать”.

И я тоже не могу доказать, что “Шекспир писал лучше, чем Златовратский”, хотя я это тоже твердо знаю. И уже хотя бы поэтому разговор должен продолжаться.

В пошлости изначально заложен заряд агрессии.

Это не та игровая, условная агрессия, которая бывает свойственна некоторым проявлениям художественной деятельности. Это другая агрессия —

буквальная, требующая выхода за границы стиля, жанра, художественного метода, за границы академической, да и любой другой дискуссии.

Пошлость не терпит не только соперничества, но и любой критики по отношению к себе, потому что всегда претендует на окончательную “истинность”. Она всегда ищет союза с силой, с властью, всегда ищет их покровительства и, как правило, их находит.

Лидия Яковлевна Гинзбург, одна из умнейших женщин XX века, писала в своей записной книжке: “Одно из самых основных и самых губительных свойств пошлости — безответственность. Пошлость не нуждается в обоснованиях, в связи, в выводах из посылок и не понимает того, что поступок есть выбор и тем самым отказ от другого”.

А серьезность, продолжим мы, — не “звериная”, а человеческая, — это прежде всего именно ответственность. Хоть бытовая, хоть интеллектуальная, хоть социальная, хоть какая.

А для пишущего и говорящего человека это прежде всего ответственность перед языком. Это ответственность за слова, за их значения и за их порядок в предложении.

Ну, и ответственность перед историей само собой.

И я, как хочется мне надеяться, достаточно хорошо понимаю, как важно быть серьезным.

Двойная оптика

Абсолютизация частного опыта иногда искажает образ эпохи до полной неузнаваемости. Но и игнорирование этого частного опыта искажает его не в меньшей степени.

Невозможно жить с постоянным осознанием, что ты живешь “в истории”. Нельзя всегда жить в истории, игнорируя поучительные уроки летучей повседневности.

Но невозможно существовать исключительно в повседневности, не обращая внимания на то, что

ты находишься все же внутри истории, ожидающей от тебя осмысления и оценки, пусть и субъективной.

Если того или иного свидетеля той или иной эпохи ограбили однажды на улице, то имеет ли он полное основание утверждать, что в “те годы нельзя было спокойно пройти по улице, потому что людей тогда грабили прямо посреди бела дня”? Если в позднесоветские годы у кого-то водился кореш-мясник из Смоленского гастронома, вправе ли он утверждать, что тогда “у всех все было, и не надо мне тут ля-ля”?

Портрет эпохи, составленный из подобных умственных построений, объективным или хотя бы правдоподобным, мягко говоря, не получится. Но и без них он не получится, вот в чем дело.

Очень мне нравится, когда некоторые строгие граждане говорят, что кто-то пытается “идеализировать” или, напротив, “очернить” ту или иную историческую эпоху.

В данном случае речь идет о пресловутых 90-х, яростный спор о которых в последнее время почему-то обострился до необычайности.

Но ведь и любые прочие эпохи, особенно те, которые мы лично чувственно проживали, невозможно ни идеализировать, ни очернить.

Единственно адекватное восприятие любой эпохи — это восприятие посредством двойной оптики. Это восприятие одновременно объективное и субъективное. Одновременно изнутри и извне.

Мои родители, например, чья молодость пришла на 30-е годы, вспоминали эти годы как страшные и счастливые одновременно.

Страшные, понятно почему. А по мере того как это время уходило все дальше и дальше в историческую перспективу, оно воспринималось все страшнее и все трагичнее.

А счастливым оно было потому, что именно в те годы они встретились и полюбили друг друга, потому что в один из тех годов родился мой старший брат, потому что в те годы были театр Таирова, кинокомедия “Веселые ребята”, танго “Брызги шампанского” и мороженое на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Да, им повезло: никто из них и их близких не оказался в те годы стертым в лагерную пыль. И если они искренне говорили, что были счастливы тогда, это вовсе не значит, что они прославляли или хотя бы оправдывали “культ личности”. Никогда я не слышал от них, что “при Сталине порядок был”.

Я всего лишь слышал от них, что для них, лично для них, те годы оказались счастливыми. И я им верю.

Если мой старший брат утверждал, что в жизни он не ел ничего вкуснее американской “ленд-лизовой” тушенки, которую он, пятилетний мальчик, однажды попробовал в 43-м году, это вовсе не значит, что ему нравилось военное время, что ему нравились теплушки и сирены, что ему были по душе горькие слезы мамы, потерявшей в трамвае продуктовую карточку, что он не тосковал по отцу, который был на фронте.

Когда он же утверждал, что не было для него, тогдашнего студента, времени веселее и вольготнее, чем конец 50-х и начало 60-х годов, это не значит, что он одобрял подавление венгерского восстания, “кукурузный” идиотизм, хрущевский разнос знаменитой Манежной выставки и злобные “крокодилские” карикатуры на “тунеядцев” и стилиг. Он и сам был стилигой.

Если я говорю о том, что 70-е годы были для меня и для многих моих друзей-сверстников годами наивысшего творческого подъема, головокружительных художественных идей, годами любви,

дружбы и счастливых полунищих застолий, то это вовсе не значит, что я горячо одобрял и продолжаю одобрять решения партийных съездов и оказание интернациональной помощи братскому афганскому народу, что я выражаю свое восхищение высокими художественными достоинствами эпохального произведения “Малая земля” и что мне безразличны преследования диссидентов. Это вовсе не значит, что мне нравилась окружающая меня социально-культурная реальность, для простоты обозначаемая неуклюжим, но вполне понятным словом “советскость”. Она мне не просто не нравилась. Я всем своим существом презирал и отрицал ее и все ее проявления как тотальное воплощение этического и эстетического уродства, как универсальный признак провинциального убожества. Эти ощущения не только не выветрились с годами. Они лишь усилились, особенно в последнее время, потому что вновь отчетливо напомнили о себе, потому что они непрошено срифмовались с ощущениями нынешними. Но я был искренне счастлив, правда.

Не так давно один мой знакомый с некоторой вполне в наши дни объяснимой повышенной экзальтацией сказал, что людям, родившимся до 80-х

годов, вообще лучше бы не доверять не то что бразды правления, но и никакие бразды вообще.

Тотальная, мол, люстрация, и точка! Потому что целые поколения были навсегда отравлены советскими ядовитыми газами.

Это, по-моему, и так, и не так. Почему это так, я даже не буду говорить.

Но это и не так. Потому что среди выросших и даже успевших стать взрослыми в советские годы есть и совсем другие, пусть эти другие и в абсолютном меньшинстве. И эти другие вошли в новые времена со стойким непоколебимым иммунитетом к убогому советскому вранью, еще более убогие и наглые рецидивы которого мы наблюдаем в наши дни.

В наши-то дни наименее устойчивыми к лошадиным дозам официальной пропаганды оказались как раз те, кто помоложе, те, кто советского опыта или не имеет вовсе, или застал его краешком блаженного детства, когда представления о жизни формировались под влиянием скорее родителей, чем школьных учителей и дикторов радио и телевидения.

Если я говорю, что 80-е годы вспоминаются мной скорее как скучноватые и инерционные, как

выморочное, рутинное, лишенное ярких примет продолжение 70-х, я же все равно не забываю о том, что начались они со счастливого события — рождения дочери, а завершились тоже радостными событиями — мои тексты впервые были опубликованы на родине, и я впервые в жизни пересек границу своей страны.

А посередине? А посередине стоял Колонный зал Дома союзов, который едва успевали проветривать между похоронами генсеков, ставшими полукомической рутинной. Ну, а чуть позже — возникли перестройка и гласность, издательский и разоблачительский бум. Но я-то ведь к тому времени уже и без этого все это читал, знал, понимал.

И если я говорю сегодня, что 90-е годы были для меня необычайно важны и значительны как годы надежд, как годы повышенной социальной и культурной активности, как годы непривычной, но насущной необходимости и, главное, возможности реального выбора и столь же непривычной возможности реальных выборов, это вовсе не значит, что мне так уж нравились стрелки-перестрелки, бандитские “крыши”, душераздирающий вид старушек, продававших сигареты и белые батоны около

станций метро, бездарная и трагическая чеченская авантюра, полугодовые задержки пенсий и обнищание и без того несильно жирующих масс.

Дело в том, что история, живая история — это прежде всего сумма и сложное взаимодействие конкретных, реальных человеческих судеб — счастливых, трагических, всяких. История страны и человечества — это, в общем-то, история людей. Разных людей. Отдельных. Но время от времени объединяемых общей радостью, общей бедой, общей волей и общим безволием.

Не читал, но...

Существуют среди многих прочих две довольно расхожие цитаты. Одна из них — “Я Пастернака не читал, но осуждаю” — тянется с конца 50-х годов прошлого столетия, со времени травли Бориса Пастернака в связи с его прославленным ныне романом и Нобелевской премией. Тогда в советских газетах в изобилии появились “отклики простых трудящихся на антипатриотическое поведение так называемого писателя Пастернака”.

Вторая — из романа “Мастер и Маргарита”. Она чуть длиннее:

- А вам, что же, мои стихи не нравятся? — с любопытством спросил Иван.
- Ужасно не нравятся.
- А вы какие читали?
- Никаких я ваших стихов не читал! — нервно воскликнул посетитель.
- А как же вы говорите?
- Ну, что ж тут такого, — ответил гость, — как будто я других не читал? Впрочем... разве что чудо?

Формально эти цитаты вроде бы об одном и том же — о нашем праве судить о чем-либо без предварительного ознакомления с объектом обсуждения. Обе они о том, что “не читал, но...”

Да, они как бы об одном и том же, но векторы их направлены в противоположные стороны. Потому что в первом случае речь идет об агрессивном невежестве, а во втором — о накопленном культурном опыте, позволяющем иметь некоторые представления даже о незнакомых предметах или явле-

ниях. Вот почему люди, связанные более или менее сходными культурными конвенциями, одной цитатой пользуются в уничижительном смысле, а второй — в позитивном.

Но все равно и в том, и в другом случае речь о доверии и недоверии. А точнее — о том глубинном кризисе того и другого, который в наши дни так или иначе остро ощущает каждый из нас.

Я не говорю здесь о жертвах телевизора. Я им очень сочувствую, но диалог с ними мне не представляется возможным, он просто не получится.

Я не говорю о тех, кто вообще не задумывается над всем этим, о тех, для кого это в принципе не является проблемой нравственного выбора (“а как же иначе?”), о тех, кто искренне уверен, что хорошие отношения с начальством (причем любым) являются непременным условием и признаком состоятельности социального существования и профессиональной деятельности.

И не о тех я говорю, кто стал очевидной жертвой элементарного шантажа. Я вообще стараюсь приучать себя воздерживаться от осуждения тех, на чьем месте я не только никогда не был, но даже и не могу себя на этом месте представить. Например,

на месте руководителя оркестра, директора музея или руководителя благотворительного фонда.

И тем более я говорю не о тех, кто сделал тотальное вранье своей профессией.

Когда возникают споры о том, надо или не надо в принципе вступать в дискуссии с кем-то из этих деятелей, в моей памяти неизбежно возникают полузабытые картины далекого дворового детства. Например, такая:

— Привет!

— Привет!

— Чо делаешь?

— Да ничего...

— Пошли на пустырь!

— А чего там делать?

— Как чего делать? Говном кидаться.

— Это зачем?

— Ну как зачем! Кто в кого сколько раз попадет.

— Да не, не хочу.

— Боишься, что ли?

— Да нет, не боюсь. А просто неохота.

— Боишься, боишься...

Ну, в каком-то смысле — да.

Нет, я не об этих.

Я о тех, кто по каким-то неясным для меня причинам заставили себя вдруг поверить в то, во что они не верили всю свою сознательную жизнь. И — наоборот — усомниться в том, что было для них совершенно очевидно все прошедшие годы. Так, как будто их собственный социальный, культурный, нравственный и чувственный опыт не значит ровно ничего или как будто он внезапно, при первых же порывах ветра облетел, как с белых яблонь дым.

Речь в данном случае я пытаюсь вести о том, что происходит внутри так называемого культурного сообщества, представителям которого, как мне всегда казалось, свойственно в понимании некоторых вещей и явлений руководствоваться в том числе и чувством стиля, и чувством языка.

Ну хорошо, хочется сказать некоторым из них, вы не склонны доверять огромному числу свидетельств и документов, считая их “конъюнктурно подобранными”. Но своему чувству стиля, но сформировавшемуся за годы и десятилетия опыту распознавания лжи и пошлости, но и просто интуиции вы тоже не доверяете? А тогда — чему? Или вам просто ХОЧЕТСЯ, чтобы было именно так, а не эдак? И под это “хочется” подверстывается

все что угодно? Это я, допустим, могу понять: мне вот тоже хочется, чтобы я оказался прав, — кому же этого не хочется. Но почему вам так мучительно, до чесотки, хочется именно ЭТОГО — вот главный и мучительный вопрос.

И почему вдруг активно заработал в этой просвещенной, казалось бы, среде рудимент архаического родоплеменного сознания и бинарная оппозиция “свое — чужое” выступила на первый план, заслонив собою все то, на чем вроде бы базируется сознание современное? Почему “наше — не наше” оказывается сильнее и уважительнее, чем “правда — неправда”, “хорошо — дурно”, “честно — нечестно”, “красиво — уродливо”?

И почему возникли в изрядном количестве холодные и бесстрастные с виду “объективисты”, с вальяжным видом интересующиеся: “А почему вы так уверены, что... А почему вы не можете предположить, что... А у вас есть неопровержимые доказательства того, что...”?

На системе доказательств, как известно, базируются точные науки. Но ученый приводит свои доказательства, находясь внутри научного сообщества, и это сообщество признает или не признает

его правоту, потому что мыслит в тех же категориях, что и он. Правота или неправота ученого и его теории определяются именно научным сообществом, а не общим собранием жильцов того дома, где прописан профессор, и не результатами социологических опросов.

Но мы ведь говорим не о науке. Мы говорим о том, что доказать, вообще-то говоря, нельзя, но что в доказательствах иногда вовсе и не нуждается. Ту роль, какую в науке играют доказательства, в данном случае играют более или менее конвенциональные представления о правде и неправде. И представления эти базируются, в общем-то, не на доказательствах. Какие бы факты и свидетельства ни предъявлялись, любое из них можно при желании оспорить: “А где доказательства, что это письмо, эта фотография, эта подпись, этот видеоролик подлинные? Где?” — “Но они же беспрерывно и к тому же нагло врут! — говорю я такому объективисту. — Неужели ты не видишь и не слышишь? Ты же должен как-то разбираться в интонациях? В выражениях лиц? В порядке слов в конце-то концов!” — “А кто не врут?” — отвечает он с тонкой улыбкой.

На этом разговор обычно заканчивается.

Но главное, это опять же: “А какие доказательства?”

Да, в общем-то, никаких.

Но кроме доказательств существуют такие неоспоримые (для меня по крайней мере) вещи, как личный или коллективный опыт и репутация.

Если про одного из двух спорящих я знаю мало или не знаю ничего, но зато про второго я (опять же на основании его репутации и собственного опыта) давно и твердо знаю, что он практически всегда врет, то я — просто методом исключения — скорее поверю первому. Хотя доказательств у меня, конечно, нет.

И я даже не стану спрашивать у этих “объективистов”: “А вот скажите, вы верите в независимость российского судопроизводства? А в то, что выборы здесь — это действительно выборы? Или выборы в России больше, чем выборы? Вы верите в то, что по улицам Киева, Львова, Харькова ходят толпы кровожадных фашистов с окровавленными топорами? Вы верите в то, что Сорос — шпион и диверсант? В то, что хрупкая барышня до полусмерти избивала бронированного бугая-омоновца? А в то, что оппозиционные партии занимаются массовыми подделками подписных листов? Вы доверяете пре-

зиденту? Правительству? Парламенту? Доверяете? Только честно!”

Нет, думаю. Никому они не доверяют. Ни друг другу, ни самим себе, ни своим ощущениям, ни своему опыту, ни чувству стиля, ни чувству юмора, ни вкусу, наконец.

А мне вот кажется правильным доверять именно этому. А “доказательства”? Нет доказательств. Ну и что? “Как будто я других не читал..”

Такая слива

В 70-е годы люди из моего тогдашнего окружения много времени проводили в библиотеках, игравших тогда роль чего-то вроде клубов. И неизвестно, где мы дольше сидели, за письменными столами с книжками и журналами или на тесных скамеечках в курилке, где происходил бесконечный треп. Обо всем на свете. Иногда пустяковый. Иногда важный и поучительный. Это были в известном смысле “мои университеты”. Там заводились короткие или долгие знакомства. А то и бурные романы.

Кроме библиотек были еще и букинистические магазины. И то и другое — наряду с бесконечными шатаниями по городу — стало родом общего интеллектуального ритуала, ровным фоном нашего социально-культурного существования.

И там и там, помимо несомненно полезного, любители вылавливали множество различных курьезов, иногда самого фантастического свойства, которыми охотно делились друг с другом и хвастались, как добытыми в боях трофеями. Это было своеобразным видом спорта.

Я, например, в алфавитном каталоге одной из библиотек обнаружил карточку с описанием какого-то поэтического сборника. Название сборника было вполне типовым для того времени — то ли “Дорога к дому”, то ли “Солнечный дождь”, то ли как-то еще. Зато имя автора не могло не привлечь внимания. Автор назывался “Колумб, Валентин Христофорович”. Перевод, почему-то, с чувашского. Я довольно долго хвастался своим открытием. Да и было чем, я считаю.

А один мой товарищ славился среди нас каким-то особенным умением находить в букинистических развалах совершенно удивительные вещи.

Так, например, он обнаружил однажды маленькую брошюрку. Книжка была выпущена где-то в середине 20-х годов. Это была биография Фредерика Шопена. Товарищ мой ее зачем-то купил, тем более что она стоила сущие копейки. Листая ее по дороге домой, он ржал на весь трамвай, путая добродетельных пассажиров. Например, в той части, где описывался пламенный союз великого композитора и Жорж Санд, было приблизительно такое место: “Жорж Санд была женщиной сильной, волевой, зовущей к борьбе. Шопен же был человеком слабохарактерным, чувствительным, по большей части — плакал”. Вот это самое “по большей части плакал” на несколько лет стало нашей любимой формулой, идеально подходившей к самым разным случаям.

Но больше всего он любил всякие причудливые словари и справочники. И всегда находил что-нибудь небывалое.

Однажды он наткнулся на “Толковый словарь русского языка”. Словарь помещался всего лишь в одном и при этом довольно тощем томе. Выпущен он был тоже в 20-е годы, в каком-то провинциальном городе. Судя по некоторым особенностям синтаксиса, возможно, что в Одессе. Первая

же словарная статья в этом словаре была посвящена почему-то слову “Альча”. Толкование же этого слова было предельно лаконичным: “Такая слива”. Ну, и дальше — в таком же примерно роде и стиле.

А еще он нашел где-то “Политический словарь” 1940 года издания. Почему так хорошо запомнился год издания, вполне понятно. Потому что, открыв случайно словарь на слове “Варшава”, он увидел, что “Варшава — главный город бывшей Польши”. С этой серо-желтой, в клопидных пятнах страницы его обдало таким почти физически ощутимым мрачным и бесстыдным духом самой Истории, что он, торопливо захлопнув книжку, положил ее на место.

Я тоже всегда любил словари, хотя и не умел, как мой товарищ, отыскивать подобные шедевры. Но и я находил в них кое-что поучительное.

Впрочем, в раннем детстве роль справочной литературы выполняли родители или соседи, с разной степенью внятности отвечавшие на непрерывные вопросы ребенка, то есть меня. Когда мне было лет шесть, я спросил у соседки Гали Фоминой, в те годы студентки педагогического института, почему идет дождь. Она мне ответила так, как и должна была ответить в те годы студентка педагогического

института. Начало ее ответа я запомнил, а остальное — нет. Она начала так: “В нашей стране много морей и рек..”

Когда я стал чуть постарше, моим любимым чтением стал Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, доставшийся моему отцу от его родителей. Эти четыре тома и сейчас стоят на одной из моих книжных полок, на самом видном месте.

Я до сих пор помню, как хохотали мы с другом Смирновым на той странице, где “фауна Америки”, наткнувшись на зверька под именем “североамериканская вонючка”. Как же долго дразнили мы друга именно таким образом!

Но не только про “вонючку” узнавал я из этого словаря. Были и вполне полезные сведения. Кроме того, с этих пор дореволюционная орфография со всеми ее ятями и ерами никогда не казалась мне экзотической и малопонятной.

Словарь — это не только источник бесстрастных сведений. Он всегда — не только прямым, но и косвенным образом — свидетельствует о той эпохе, в какую был рожден. Вроде как тот самый “Политический словарь”, о котором я уже рассказал.

На каком-то курсе института мне надо было сдать предмет, который назывался “Эстетика”. И я по своему тогдашнему обыкновению решил на скорую руку подготовиться к экзамену не по толстенному и невнятному учебнику, а по краткому словарю. Вот я и взял в библиотеке “Краткий словарь по эстетике”. Плохо ли?

Первым делом я, конечно же, решил посмотреть, как в этом кратком словаре трактуется сам предмет. Скажи-ка мне, любознательный, но простодушный читатель, на какую букву ты стал бы искать в словаре слово “эстетика”? Небось на букву “Э”? Вот и я тоже так думал. И я даже нашел это слово. Но оно незамедлительно послало меня на совсем другую букву, на букву “М”. Потому что там было ясно сказано: “Эстетика. — См. Марксистско-ленинская эстетика”. Понятно, да?

Именно с тех пор я твердо знаю, что значения многих слов и базовых категорий требуют перевода, перевода с русского на советский, с советского на русский. В наши дни — что еще причудливее — и вовсе с русского на русский. Эти словари — советско-русские и русско-советские, а также и русско-русские — никто пока не издал. Но для того

чтобы не путаться мучительно в различных вопросах бытия и капризных причудах отечественной истории, эти словари, вроде как кантовский “нравственный закон”, всегда должны быть внутри нас.

Без них человеку трудно понять, что бывает, например, “шампанское”, а бывает “советское шампанское” и что это, мягко говоря, не одно и то же. Что бывает, допустим, “гуманизм”, а бывает “социалистический гуманизм”. Что бывает “наука”, а бывает “православная наука”. Что бывает “правосудие”, а бывает “российское правосудие”. Что бывают на свете вежливые люди, а бывают и “вежливые люди” в воинственном камуфляже и при оружии, нежно отжимающие все, что плохо лежит. Что в разных странах бывают президенты, а бывают “президенты Российской Федерации”. Подобного рода фундаментальные различия иногда находили свое отражение в фольклоре. Так, например, долгое время бытовала такая консерваторская шутка: “Мы передавали песни советских композиторов. А теперь послушайте музыку”.

Впрочем, никакие словари никогда не угонятся за галопирующей реальностью. Вот совсем на днях, например, до меня донеслось удивительное словосочетание “научная рота”. Я вспомнил, как очень

давно я придумал такое воинское звание, как “подполковник историко-филологических войск”. Зря, наверное, придумал. Потому что нет ни одной шутки, ни одной самой невероятной метафоры, не способных к грубой материализации.

Интересен был бы в наши дни и фразеологический словарь, где все ставшие устойчивыми выражения и словосочетания означают на самом деле не совсем то или даже совсем не то, чем они кажутся.

Ну, например, первое, что пришло в голову:

- Мы же с вами не дети.
- Ну, все же все понимают.
- Сами знаете, в какое время мы живем.
- Наши враги только и ждут, чтобы..
- А почему это мы всегда всем что-то должны?
- Правды мы все равно никогда не узнаем.

Ну, и многое другое.

Словари — серьезные, смешные, нелепые, бессмысленные, страшные, поучительные — уходят из нашего обихода, подавленные великим и могучим всезнайкой Гуглом. Но время от времени вспоминать о них — да и не только о них — не только полезно, но и даже необходимо.

Пена требует отстоя

Казалось бы, зачем в наши дни обращать отдельное внимание на мелькнувшее где-то сообщение о том, что “Мединский потребовал запретить критику советских мифов”. Чему тут особенно удивляться-то? В наши-то дни...

Но я все же заметил. Видимо, потому, что в этой небольшой фразе интересными и значительными мне показались буквально все слова и их сочетания. “Запретить критику” — это и вообще хорошо звучит, а уж “запретить критику мифов”, да еще и “советских”, — хорошо вдвойне.

Официальная риторика советского времени тоже опиралась на мифы, заменяющие историю. Но мифы там упорно назывались именно “историей”, неловко, хотя и навязчиво мимикрируя под базовые категории современного мира. Слова “история”, “исторический” использовались постоянно и назойливо. “На крутых поворотах истории”, “исторический съезд”, “исторический пленум”, “исторический доклад на историческом съезде, ставший историческим документом исторической эпохи”. И горе было тому, кто миф посмел бы назвать мифом!

Нынешние решили обойтись без всякой “истории”, даже в кавычках.

Стилистика нынешней пропагандистской машинерии вся построена на том, что в искусствоведении называется “обнажением приема”. Поэтому они ничуть не стесняются миф называть мифом.

В общем, министр “требует”. Он требует в интересах защиты конституционного строя и территориальной целостности государства, а также в рамках антисанкционных мероприятий и тотального импортозамещения полной отмены действия мировой истории на территории Российской Федера-

ции, а также привлечения к ответу всех тех, кто под видом критики протаскивает... ну и так далее, пусть сами думают, их учить не надо.

Мифологическому архаическому сознанию свойственно третировать реальный современный мир как мир, утративший доверие, как мир утомительный и докучливый, враждебный прежде всего тем, что он постоянно и настойчиво требует осмысления. А какой смысл в том, что нельзя понять и осмыслить раз и навсегда?

А когда мир, живущий в категориях волшебной сказки, на своих условиях пытается взаимодействовать с миром реальным, время от времени уродуются реальные человеческие судьбы и проливается реальная, совсем не сказочная кровь.

Неразличение яви и сна, а также прямых и переносных смыслов слов, образов, понятий — это вообще проблема незрелых людей и незрелых обществ. Так что стоит ли изумляться по поводу различных причудливых, мягко говоря, сюжетов, связанных с культурой и искусством. Стоит ли удивляться тому, что те или иные объекты искусства способны, оказывается, “оскорблять чувства”, хоть религиозные, хоть патриотические, хоть какие.

И это притом, что даже дети в своих детских играх учатся различать область реального и область условного посредством таких взаимопонятных терминов, как “понарошку” или “как будто”. “Давай я как будто буду продавец, а ты как будто будешь покупатель”.

И, конечно, то обстоятельство, что субъектом подобного “требования” выступает какой-никакой, но все же министр, и при этом, что особенно пикантно, министр именно культуры, а не, допустим, рыбного хозяйства, придает этому сюжету особую прелесть и остроту.

Существуют в нашем родном языке глаголы, посредством которых в разные времена и с разными последствиями жгли — по бессмертной формуле национального российского гения — сердца людей. Иногда — дотла. Иногда — не в метафорическом, а в самом буквальном смысле, вместе с самими людьми.

Таков и глагол “требовать”.

Я еще, как ни странно, застал остатки старорезимных словесных формул наподобие висевшего в начале 70-х годов на стене Елисеевского магазина бодрого призыва “Требуйте свежую осетровую икру”

при полном отсутствии не только свежей, но даже и не очень свежей, и не только осетровой, но и какой-либо другой икры. А также помню, как, балансируя по шатким дощечкам, проложенным поверх недвусмысленного вида и запаха лужи, полноводно разлившейся по полу общественного сортира, я был развлечен видом ржавой, висевшей на одном гвозде таблички с надписью “Требуйте свежих салфеток”. Ага, “салфеток”. Ну да, “свежих”. Далась же им эта “свежесть”.

Но в основном “требования” были иного, куда менее забавного свойства. В основном в разные годы отовсюду доносилось “Требуем прекратить агрессию такой-то военщины против того-то и сего-то” или, несколько раньше, “Требуем смертной казни для бешеных троцкистских собак и убийц в белых халатах”.

В годы же моей “застойной” молодости главное и повсеместное требование времени было сформулировано с беспощадной ясностью и последней прямотой: “Требуйте долива пива после отстоя пены”. И эта поистине народная формула была понятна всем и каждому — от балбеса-школьника до зануды-пенсионера. Это вам не какая-нибудь там “критика

мифов”, это сама народная жизнь, где мифы и их критика в полной гармонии сосуществовали в многочисленных дискуссионных пространствах, примыкавших к пивным ларькам.

А теперь? Какой такой долив? Нет никакого долива. Остались только пена и отстой. И обильная пена, как мы видим, настойчиво требует полного отстоя.

На два слова

Бывает, что даже на протяжении одной человеческой жизни слова меняют значения. Иногда — на противоположные.

Мой старший брат, например, чье раннее детство пришлось на годы войны, гордился тем, что его папа — офицер. А сам папа-офицер, ставший офицером лишь в разгар войны, хорошо помнил время, когда слово “офицер” было бранным, потому что “офицер” — это значило лишь “белый офицер”, а в Красной армии были “командиры”. Вот он и ушел на фронт командиром, а вернулся — офицером.

Было еще слово “доброволец”. Неплохое, если вдуматься, слово, означавшее человека, склонного к бескорыстному социальному поведению.

Но уже в моем детстве это слово намертво соединилось с полумертвыми уже и к тому времени речевыми конструкциями наподобие “комсомольцев-добровольцев”.

Я помню рассказ одного старшего товарища, работавшего в середине 70-х годов в каком-то научном учреждении. Накануне очередного коммунистического субботника (помните такую штуку?) сотрудников собрали в конференц-зале, где парторг говорил им о необычайной важности данного мероприятия. “Ровно в девять ноль-ноль все должны быть на своих рабочих местах.. Инвентарь будет выдаваться организованно, по отделам.. Учтите, это важное политическое дело... Те, кто не явится на данное мероприятие без уважительной причины, пусть пеняют на себя...” Ну и так далее. В конце своей зажигательной речи он сделал многозначительную паузу, после которой с особым интонационным нажимом и почти что по слогам произнес: “Но-что-бы-доб-ро-воль-но! Вы меня поняли?” Да чего ж тут непонятного. Примерно

в те же годы возникла народная речевая конструкция “в добровольно-принудительном порядке”.

А в годы пионерского детства я услышал от пожилой соседки, участницы Гражданской войны, частушку “Пароход плывет, дымит кольцами. Будем рыб кормить добровольцами”. Мне это показалось, мягко говоря, странным, чтобы не сказать кощунственным. А как же добровольная народная дружина? А как же ДОСААФ? Откуда мне было тогда знать, что добровольцами в Гражданской войне были белые? Впрочем, чуть позже, уже от другой старой женщины — как потом выяснилось, “из бывших” — я услышал совсем другой вариант этой же частушки, произнесенной шепотом, где в качестве корма для рыб фигурировали на этот раз уже “комсомольцы”. Так “комсомольцы-добровольцы” навсегда сплелись в моем сознании в емкую иллюстрацию диалектического закона о единстве и борьбе противоположностей.

В наши дни те, кто занимается общественно полезной деятельностью добровольно, предпочитают называть себя не вполне исконным словом “волонтеры”.

Волонтерское движение заявляет о себе настолько отчетливо, что им уже интересуются разные

“следственные комитеты”, не могущие допустить, что какие-то непонятно кто без разрешения начальства формируют в стране гражданское общество, чьи ростки, тоненькие и трогательные, как березки на карнизах, растут прямо из трещин в кафельной путинской стабильности.

Власти, конечно же, не могут допустить, что что-то происходит без их руководящей и направляющей роли, а какие-то взносы и пожертвования самым возмутительным образом движутся мимо их оттопыренных карманов.

Что же касается добровольцев, то и это движение ширится и растет.

Главная опасность всех этих безумных законов последнего времени не только в том, что они по сути противозаконны, потому что самым недвусмысленным образом нарушают дух и букву Конституции.

И не только в том, что тот, кто в принципе признает право нелегитимной власти издавать какие-либо законы, сам становится ее соучастником, пусть даже и пассивным.

И не только в том, что даже тот, кто по каким-то причинам решит отнестись к этим законам всерьез и вознамерится их исполнять, просто не сможет

этого сделать физически по причине их повышенной неопределенности.

И правда ведь, кто знает, чего именно не следует делать, говорить, писать, изображать или исполнять, чтобы ненароком не наступить кому-нибудь на ногу в темноте или помимо собственной воли не напропагандировать чего-нибудь не то, что следует? Получается так, что от греха подальше лучше вообще ничего не говорить и не делать — целее будешь. А это разве возможно?

И не только в том эта опасность, что решать, кто кого и чем оскорбил, а также кто, что и с какой целью пропагандирует, будут специально заточенные чиновники, которые, как это делается всегда, будут гнобить и “закрывать” лишь тех, “кого надо”. Эта опасность не столь велика, если учитывать, что чиновники эти по большей части не столько ревностны и азартны, сколько ленивы и вороваты.

Самое опасное в этом деле — это добровольцы. Ведь только они и именно они — добровольные доносчики, стукачи, сивушные казачки-разбойнички, накачанная, коротко стриженная “православная общественность” и заполошные визгливые тетки — способны придать любой очередной запретитель-

но-карательной кампании масштабы национального бедствия, способны всерьез напугать или хотя бы озадачить даже непосредственных инициаторов этих кампаний, по крайней мере тех, кто наделен хоть каким-то воображением, жизненным опытом и инстинктом самосохранения.

И это уже происходит. И это уже видно. Это уже прорастает на всех уровнях и явлено нам в наших ощущениях. И это уже бывало в истории. И не раз. Если уж и говорить о каких-то незыблемых традициях нашей великой страны, то это одна из самых живучих и вечно цветущих — от “слова и дела” до наших высокотехнологичных времен.

Да, слова меняют свои значения. Иногда — на противоположные. А кровожадная частушка про рыб и добровольцев всегда ждет повода, чтобы вновь и вновь обозначить свою историческую актуальность. Увы.

ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ КРЫШЕЧКА

Евровидение

Во внутреннем дворике одного московского кафе я увидел забавный аттракцион. Посреди двора располагался стилизованный пластиковый бык, чьи судорожные телодвижения управлялись с помощью специального пульта. За пультом сидел молодой человек и со скучающим видом нажимал на какие-то кнопки и пошевеливал какими-то рычажками.

На спину быка взгромоздилась слегка подгулявшая барышня и, характерно повизгивая, некоторое время пыталась усидеть верхом на беспо-

койном крупном рогатом объекте. Пыталась она, впрочем, не очень долго, потому что бык с помощью управляющего им оператора и при разнообразных возгласах группы поддержки довольно быстро скинул лихую наездницу на мягкую надувную поверхность.

Все мы знаем, как разрозненные фрагменты уличной речи отзываются в нас то регулярным стихотворным метром, то расхожей цитатой из школьной программы, а мимолетные визуальные впечатления — популярными сюжетами мирового изобразительного искусства.

Так и тут. За все то недолгое, но яркое и шумное время, что девушка, хохоча и взвизгивая, провела на спине игрушечного быка, моя культурная память успела-таки ткнуть меня носом в знаменитое полотно художника Серова “Похищение Европы”.

Ну, а дальше последовала внутренняя словесная игра. В голове стали непрощено крутиться “Посещение Европы”, “Поглощение Европы”, “Покушение Европы”...

Ну, а потом, конечно же, “Закат Европы”, “Захват Европы”, “Прокат Европы”, “Примат Европы”, “Газават Европы”, ну и так далее — простор для ка-

ламбуристического воображения открыт во все стороны. Присоединяйтесь!

А все это почему? Да понятно, почему. Потому, думаю, что вокруг идут нервнейшие разговоры и темпераментнейшие споры о Европе. Нет, не о той, которую спер прикинувшийся быком, которому “не позволено”, античный Громовержец, которому как раз “позволено”.

О другой Европе.

Да и о чем же еще говорить и спорить россиянину, в чьей собственной стране все внутренние и внешние проблемы решены, как всем известно, полностью и окончательно.

Я знаю: когда-то это называлось “всемирной отзывчивостью”, а в более поздние времена стало называться “очень беспокоит Гондурас”.

Впрочем, справедливости ради, заметим, что Европа все же не Гондурас. И не только потому, что она ближе географически. Она ближе во всех смыслах этого слова. Более того, Россия — это Европа и есть.

Так уж исторически сложилось, что русское образованное сословие во все времена, начиная с XVIII века и включая даже советские и, тем более,

послесоветские годы, с большей или меньшей определенностью и пристальностью смотрело на мир вообще и на русскую действительность в частности глазами европейского человека. Всегда сравнивая, всегда сопоставляя, всегда вооружась критическими инструментами, иногда очень острыми, иногда беспощадными до жестокости.

Этот взгляд на свою родину со стороны западных границ формировал во многих поколениях образованных людей и прежде всего литераторов устойчивые представления о норме и патологии, о смешном и серьезном, о честном и бесчестном, о свободном и рабском, о стыде и бесстыдстве, о благородстве и подлости, об остроумии и тупости, о модном и старомодном, о новизне и отсталости. И литература — прежде всего классическая, — и общественная мысль всегда опирались именно на эти представления.

Поэтому в наши дни так мучительно гротескно выглядят в наших глазах все те, чьи поступки и высказывания, чье социальное и культурное поведение не могут восприниматься иначе, чем сквозь оптику именно этого культурного опыта. Не могут восприниматься иначе, чем непонятно зачем вдрут

ожившие персонажи Гоголя, Достоевского, Гончарова, Чехова, Сологуба, Зощенко, Булгакова и многих других.

Конечно, во все времена звучали и “охранительские” голоса. Конечно, бывали в истории яркие эксцессы, наиболее запомнившимся из которых была знаменитая “борьба с космополитизмом”.

Но все наиболее яркое и заметное, что было (да и есть) в отечественной культуре, все то, что, условно говоря, зубрили в гимназиях и школах, на чьих образцах и образах воспитывались и формировались поколения, было все же сформировано именно этим взглядом, взглядом одновременно изнутри и со стороны. С западной стороны.

И любовный, и горький, и ядовитый, и ласково-печальный, и горделивый взгляд на свое отечество всегда исходили из того, насколько похожа и насколько не похожа наша страна, ее история и сегодняшняя ее реальность на Европу, насколько укореняются и насколько не укореняются европейские базовые категории в нашей стране.

И этот взгляд был уникальным. И именно этот взгляд, этот ракурс, эта двойная оптика создали тот неповторимый, мерцающий и отчасти таинствен-

ный облик нашей культуры, столь интригующий и притягательный для всего мира. Именно этот взгляд ввел нашу культуру в мировой контекст, сделал ее конвертируемой.

Если и можно говорить о “традиционных ценностях” русской культуры, то это, в общем-то, они и есть.

Почему же в наши дни многие из тех, кого принято числить по ведомству культурного сообщества, вдруг в одночасье, смертельно устав притворяться европейцами, облегченно скинули с себя постылые камзолы и напудренные парики и плюнули в сердцах на ненавистный “политес”, на невыносимые, чуждые “нашим традициям” “галант” с “плезиром”?

Впрочем, окладистых допетровских бород они тоже не отрастили. И не напялили они на себя ни душных парчовых кафтанов, ни хорошо пропотевших собольих шапок, ни фольклорных сарафанов да кокошников.

На полпути к искомой самобытности они остались как есть, то есть в самом натуральном своем виде.

Сегодня, когда методы, аргументы, приемы “старинного спора” о цивилизационных путях и выборах России обнажаются до полного непри-

личия, я с неменьшей “обнаженностью” понимаю, что единственно адекватной позицией думающего российского человека является позиция “немножко иностранца”. Это, я уверен, правильная позиция. Точная. Спасительная.

В этом смысле, кстати, ставший вдруг политически уязвимым термин “иностраннный агент” не такой уж и бессмысленный. Ну, в общем-то, да, агент. Агент мировой цивилизации, агент международного права, агент интернационального культурного контекста. Готов подписаться под протоколом. Давай, гражданин начальник, бумагу, ручку и чернильницу — все подпишу. Агент и есть. Запиши явку с повинной.

А тема “Заката Европы” столь же перманентна, как и вечные разговоры о смерти искусства, о смерти автора и о смерти вообще. Потому что смысл Европы именно в том, чтобы видоизменяться, чтобы осознавать и разрешать все новые проблемы, адаптироваться к постоянно обновляемым обстоятельствам и обновленной выходить из многочисленных смертельных катастроф — от средневековых чумных эпидемий до фашистских или коммунистических эпидемий XX века.

Что же касается главной сегодняшней “европейской” темы, то есть темы нового наплыва мигрантов, то могу сказать лишь одно.

Давно проверено временем: любые проявления великодушия и милосердия, даже не очень осторожные, даже легкомысленные и безоглядные, с точки зрения и настоящего, и будущего все равно правильнее, разумнее и, в общем-то, практичнее, чем бдительная подозрительность и опасливая настороженность.

Ради собственного же душевного комфорта куда правильнее улыбнуться незнакомому человеку, даже если он может вдруг оказаться жуликом и негодяем. И куда душеспасительнее для тебя же самого бросить в шапку уличной побирушки несколько монет, чем подозревать ее в том, что она бы тебя, небось, не пожалела и что она, небось, на самом-то деле “побогаче тебя”. Ну, допустим, побогаче. И что? Ну, допустим бы, не пожалела? А ты вот взял и пожалел.

Но Европу упорно хоронят. Хоронят ее и в наши дни. Кто — плача и причитая, кто — злорадно ухмыляясь.

А между тем европейские проблемы, катастрофы, достижения и победы — это также и российские достижения, победы, катастрофы и проблемы.

И вспомним, кстати, что Москва — по версии имперски озабоченных державников многих поколений — это хотя и всего лишь третий (что, конечно, немножко обидно), но все же Рим, а не, скажем, Шанхай или Багдад.

“А четвертому — не бывать”, как было сказано. Четвертому Риму не быть, это правда. Потому что “четвертый” — это уже никакой не Рим. Четвертый — это уже сон Веры Павловны. Кто-нибудь еще помнит этот дивный сон?

Завинчивающаяся крышечка

Я один из тех немногих, кто так и не увидел этой знаменитой “Федры”, этой церемонии открытия Олимпиады, спровоцировавшей столь яростное обсуждение, столь бурную, пугающе сосредоточенную вокруг полюсов полемику.

Я не видел. И даже не потому, что сознательно не стал смотреть, а просто не получилось. Да и не большой я любитель грандиозных массовок. Впрочем, не хочу никому навязывать своих эстетических предпочтений — это всего лишь факт моей биогра-

фии. В общем, не видел. А потому и не стану выступать в классическом жанре “не читал, но скажу”.

Но существует и другой жанр, с не менее почетной традицией. Этот жанр иногда обозначают как “наблюдение за наблюдающими”.

Мимо самого этого исторического — или квазиисторического — события я кое-как проскочил. А вот мимо его обсуждения уже не получается.

Обычное, ставшее тривиальным разделение спорящих на условных патриотов и условных либералов меня не слишком-то зацепило в силу очевидной предсказуемости. Меня в большей степени заинтересовали противоречия — вкусовые и моральные, — возникшие между людьми, мнения и оценки которых мне в той или иной мере интересны.

Некоторые из них описывали и пересказывали само событие столь подробно и столь ярко, что у меня сложилось некоторое представление об общей картине, хотя, разумеется, искаженное, увиденное через чужие очки. Тем не менее.

Я понял, что авторы шоу стремились создать образ России как страны динамичной и современной, открытой миру и устремленной в будущее. Одни говорят, что это было выражено стилисти-

чески беспомощно; другие, напротив, утверждают, что представление было сделано в целом талантливо и изобретательно, на вполне современном языке.

Давайте-ка я хотя бы в этот раз поверю вторым. Я вообще всегда с куда большей готовностью верю в хорошее. Давайте поверю. А что? Люди потрудились, проявили старание и, как сейчас говорят, “креатив”. Ну и молодцы. Верю. Почему бы и нет. Тем более что эта традиция довольно давняя.

И эта традиция всегда преследует как минимум две постоянные цели. Одну из них можно назвать “экспортной” — когда в качестве адресата и потребителя предполагался не внутренний, а внешний объект. Когда делалось что-то исключительно на экспорт, а потом продавалось за валюту в различных “Березках”, то это “что-то”, разумеется, существенно отличалось от того, что делалось для “своих”. Валютный бар в интуристовской гостинице был, мягко говоря, мало похож на кафе “Молочная” на той же улице.

Когда “население” мучительно, с помощью вилки и ножа, отколупывало “бескозырку” от бутылочного горлышка, оно, население, при этом недобро приговаривало: “А вот в «Березке» продают «Сто-

личную» с завинчивающейся крышечкой. Сам видел, когда был в гостях у знакомого финна. Ведь могут же, когда захотят. Э-эх!»

Вот и сейчас, судя по всему, изготовили-таки “Столичную” с завинчивающейся крышечкой. И даже показали ее по телевизору. Что, конечно же, многих умилило до невозможности. “Могут же, когда захотят”.

Да, могут. Потому что всегда существуют те, кто в любых условиях способен подковать блоху или выкопать самую глубокую яму в мире.

Этот направленный вовне, экспортный образ страны и государства иногда умел завораживать тех, на кого он был направлен. И это, может быть, лучше всего описано Алексеем Константиновичем Толстым в “Истории государства Российского”:

“Madame, при вас на диво
Порядок расцветет,—
Писали ей учтиво
Вольтер и Дидерот,—

Лишь надобно народу,
Которому вы мать,

Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать”.

“Messieurs, — им возразила
Она, — vous me comblez,” —
И тотчас прикрепила
Украинцев к земле.

Эта традиция давняя. И она направлена не только на экспорт.

Устройство всякой запредельной, неземной, высоко парящей в небесах наподобие огромного портрета вождя, висевшего на нескольких дирижаблях в небе над столицей, праздновавшей свое 800-летие в год моего рождения, красоты, пленяющей (в буквальном смысле) людские души, красоты на фоне творящегося не менее запредельного кошмара, — давняя, чтобы не сказать вечная традиция нашего государства, какие бы формы и названия это государство ни носило в разные исторические эпохи.

Величественные и действительно красивые павильоны Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, роскошные до изумления станции метро, куда,

кстати, до сих пор водят ошалелых иностранных туристов, взвинченно-бодрые кинокартины Александрова и Пырьева с действительно талантливыми маршами Дунаевского и лирическими, действительно хватающими за душу песнями Богословского служили великолепным, искрящимся, переливающимся всеми цветами радуги покрывалом, заботливо накинутым партией и правительством поверх сплошной коллективизации, голодомора и ГУЛАГа.

Организация всенародного Восторга с одной стороны, со стороны государства. И имитация, симуляция Восторга — с другой стороны, со стороны народонаселения.

Этот хорошо и тщательно — без халтуры, без экономии усилий и средств — организованный Восторг ослеплял примерно так же, как и следовательская настольная лампа, направленная в глаза допрашиваемого.

И ведь до сих пор слышатся голоса, голоса из совсем уже другого поколения:

“Отстаньте уже со своим ГУЛАГом! Хватит уже про нищих и бездомных! Надоели уже со своими избитыми и покалеченными! Сколько можно уже про ваших («ваших»!) больных детей, про гомери-

ческий размах воровства, про произвол и насилие, про все такое прочее! Сами знаем! Но хватит уже!

Мы же ничего с этим поделать не можем. Поэтому мы хотим праздника! Олимпийских огней и колец хотим, Любовь Орлову хотим, хотим не какого-нибудь кантовского неба над головой, а хотим мы синюшного неба над ВДНХ, где мороженое на палочке, газировка с сиропом по четыре копейки, бык с яйцами на крыше павильона «Животноводство», где «Друга я никогда не забуду», где вежливые милиционеры в белых кителях из кинофильма «Подкидыш», где плов и шашлык-машлык с зеленью-меленью. Хотим уже, наконец-то, забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы. Хотя почему бы и не тем. Хотим вечного сверкающего парада, марша, духового оркестра в городском саду. Деда Мороза хотим. Хотим сверкающей елки, пусть даже и из-под палки!»

Да, я допускаю, что эта самая церемония была сделана талантливо и изобретательно. Да и не так это важно, вообще-то говоря. Потому что люди искусенные твердо знают, что и форма, и содержание любого художественного высказывания определя-

ются не только и даже не столько самим текстом, но и его контекстом. В том числе и историческим.

Художественная правда находится с правдой исторической в довольно сложных и запутанных отношениях. Но она всегда в них, в этих отношениях, находится. И всегда эти отношения выясняет. А без этого вечного и мучительного выяснения отношений нет ни той правды, ни другой.

Часы томительного бденья

Что главным светским событием в огромной стране, претендующей на заметную роль в мировых делах, стране, пусть и в статусе трудного подростка, но все же являющейся частью большого мира, стала женитьба подполковничьего денщика, по утрам в людской разъясняющего кухаркам и дворникам подлинный смысл слов, поступков и намерений его благородия, — это вообще отдельная тема.

Сама-то по себе женитьба — это ладно, и не такие мы видали женитьбы. Но вот какие-то “часы”,

о которых вот уже несколько дней без устали талдычит сетевое сообщество, — это, конечно, не может не привлечь внимания.

С одной стороны, нормального и к тому же занятого человека не могут не раздражать бесконечные разговоры про чьи-то часы.

А с другой стороны — ведь говорят и говорят. И даже азартно. И даже иногда не самые пустые и праздные люди. Нет, это все невольно заставляет задуматься.

Понятно, что дело не в том, чьи именно часы. Дело в самих часах. То есть дело не в часах как в приборе для определения времени суток, а в часах как в категории высшего порядка.

Ведь и раньше разнообразные державные часы становились объектами возбужденного внимания. Говорили то о часах, надетых на правую, почему-то, руку президента, и о том, что бы это значило. То об отражении на полированной поверхности часов патриарха при полном отсутствии самих часов на руке. Теперь вот о будоражащей воображение стоимости часов новобрачного пресс-секретаря.

Какие часы запомнились мне из далекого детства?

Большие трофейные папины часы и маленькие золотые мамины.

Но я твердо знал тогда, что существуют и Самые Главные Часы. Это были часы Сталина. Даром что на всех портретах он был изображен без всяких часов. На руке его часов не было. Его часами были часы на Спасской башне. Я вообще был уверен, что он жил в этом высоком терему и ежедневно заводил эти часы.

В аскетические годы моего детства часы считались признаком если не роскоши, то чего-то в этом роде.

Некоторые, отправляясь в фотоателье, одалживали часы у друзей или соседей и позировали перед камерой таким образом, чтобы на фотокарточке непременно была видна рука с часами.

Шутки в те времена были такие: “Который час, не скажешь?” — “Часы на рояле оставил”. Рояль, понятное дело, тоже проходил по разряду роскошества. Или: “Сколько на твоих золотых?” — “На моих золотых половина жравчины”.

А еще, пародируя то ли реальные, то ли воображаемые представления деревенских людей о роскошной жизни, про кого-нибудь говорили: “При

галошах и при часах”. Считалось, что для городского человека галоши — вещь повседневная, а вот для деревенского — что-то вроде часов. Что и понятно — они блестят.

Хулиганы отнимали часы в темных переулках. Часы могли украсть в бане и на пляже. Умельцы могли незаметно снять часы прямо с руки. “Вышел из трамвая, а часов-то и нет”.

Часы не только были признаком состоятельности, но и отмечали новый возрастной этап или социальный статус. Они торжественно дарились на совершеннолетие, на окончание школы, на юбилей, к выходу на пенсию.

Давно уже они стали делом вполне обиходным. Но есть часы и часы. И теперь они — символ могущества и процветания. Чем круче на тебе “котлы”, тем круче ты сам.

Определение времени суток — это едва ли последняя из всех их функций. Часы давно уже существуют вовсе не для того, чтобы показывать время. Они для того, чтобы показывать всем, что теперь твое время. И что твое время дорого. Очень дорого. Владелец “элитных” часов — вроде как властелин времени. Вроде как...

Личности такой же примерно категории, к какой относится наш новобрачный, являются в сущности приложениями к собственным часам. Их имена если чем-то и запомнятся, то только тем, что на их запястьях были видны такие-то часы, стоявшие столько-то.

Впрочем, само по себе словосочетание “часы Пескова”, опять же если попытаться отвлечься от грандиозного масштаба личности конкретного обладателя фамилии и часов, привлекает внимание не только своей нарядной аллитерированностью, но и тем, что его косвенные семантические признаки не могут не заставить вспомнить о совсем других часах.

Не о тех часах, которые носят на руке — хоть на правой, хоть на левой. Не о тех, которые висят на стене и посреди ночи нарушают чей-то мирный сон смертным боем. Не о тех, которые висят на городских башнях и на фоне которых фотографируются японские туристы. Не о тех, которые ужасающим звоном способны поднять в шесть утра хоть трезвого, хоть пьяного, хоть живого, хоть мертвого.

О других часах идет речь — о песочных.

Песочные часы — это совсем другие часы. Они не усыпляют нашей бдительности мнимой циклич-

ностью времени, они не врут, что завтра будет все то же самое, что и сегодня, потому что те же самые стрелочки будут скользить по все тем же самым циферкам. На них не поглядывают время от времени, опасаясь опоздать на деловую встречу или на любовное свидание.

На них смотрят заворуженно и напряженно — кто с ужасом и тоской, а кто с надеждой и нетерпением. Потому что они не показывают, который теперь час. Они показывают лишь одно: как скоро ВСЕ ЭТО закончится.

А когда иссякает песок, их просто переворачивают с ног на голову, и все начинается заново. А уж дальнейший ход времени во многом зависит от того, чьи именно руки их перевернут.

Старые песни главных

Эта старая песня о главном время от времени звучит на разные голоса, со слегка меняющимся текстом, но с более или менее одной и той же мелодией. Эту мелодию время от времени вспоминают не только разрозненные граждане, движимые властной потребностью высказать свое мнение по любому, даже самому далекому от их насущных интересов поводу, но и разного ранга начальники, в том числе и те, кто волею различных аппаратно-бюрократических обстоятельств оказался брошенным на культуру.

В тот раз песня прозвучала примерно так: “Почему под современным искусством понимается только что-то абстрактное, кубическое или корявое, вплоть до груды кирпича, которая на самом деле является невероятной инсталляцией?”

Ну, это ладно бы. Подобная точка зрения широко распространена, и я лично склонен к ней относиться с такой же терпимостью, как и к прочим точкам зрения, которых я не разделяю.

Особенность такого взгляда на современное искусство и на искусство вообще лишь в том, что его высказывает не вполне частное лицо, а какой-никакой министр. К тому же не тяжелого, к примеру, машиностроения, а, прямо скажем, культуры. Хотя бы и той, какая имеется в наличии.

Он же заодно сообщил о том, что лично он негативно относится к поддержке искусства, “которое не очень понятно подавляющему большинству населения России”.

Много лет я мучительно думал о судьбе отечественной культуры, вынужденной влачить свое неприкаемое существование без неустанной, привычной и уютной заботы государства, партии, правительства и лично заведующего Всероссийской

“прачечной”, искренне уверенного, что настоящее искусство — это картинки, которые можно и даже нужно репродуцировать на конфетных коробках, или мотивчики, которые прикольно скачать в мобильник. И вот впервые за эти лихие годы ощущения сиротства я с облегчением и надеждой могу сказать: с культурой теперь все будет о’кей. Она, слава богу, в надежных руках. И главное, в полной безопасности. Причем в государственной.

Не может не воодушевить и прозвучавший с высокой трибуны призыв “сменить культурную элиту”. Взять и сменить. Вот прямо сейчас думские дьяки нажмут на свои кнопочки — и настанет новая элита. Та, какой им надо.

Инициатором создания “новой элиты” выступила одна дама, главный редактор одной из тех газет, которые все больше про “скрепы”, дама, речевое поведение которой постоянно напоминает о старой поговорке про простоту и воровство. Она вот прямо так и говорит, что сегодняшняя элита перестала как-то шагать в ногу с партией и народом и вообще ее удовлетворять. А поэтому, полагает она, “надо позвать людей из регионов и правильно их сориентировать, а потом сделать из них звезд, новых звезд”.

Вот взять и призвать. Взять и сориентировать. При чем “правильно”. Взять и сделать. Вот эта, видимо, креативная редакторша и понаделает нам звезд, эта темпераментная звездоделка и нарисует новую культурную элиту. А чо! Говно вопрос, между прочим.

Жутко, кстати, любопытно было бы посмотреть на культурную элиту, которую вообще кто-то и как-то “ориентирует”, объясняя им, что “правильно”. Ничего такая элитка должна получиться.

Если же попытаться на эту тему говорить серьезно, то дело даже не в том, что эти полновесные идиоты искренне убеждены, что культурой в принципе можно управлять, хотя это не удавалось и гораздо более серьезным ребятам, вынужденным время от времени признаваться в том, что других писателей у них для нас нет.

Дело в том, что они не просто идиоты, а идиоты, лишенные даже самой поверхностной исторической памяти. Такое впечатление, что они учились по “единственному учебнику истории” еще задолго до того, как ослепительнейшая сама по себе идея такого учебника забрезжила примерно в тех же самых головах.

Они, бедняги, не знают, что были в свое время и хрущевские “пидарасы”, и “бульдозерная выстав-

ка”, а также все то, что было после. Они не знают, что во все времена, даже самые жесткие и жестокие, существовала свободная, ничуть не зависящая от капризов полуграмотного начальства культура. Они не знают, что чиновник в государстве, которое претендует, чтобы его хотя бы иногда называли цивилизованным, вообще не смеет разевать рот для того, чтобы “озвучить” свои вкусы и пристрастия, никому кроме него не интересные. В семье, в кругу друзей — пожалуйста, демонстрируй сколько влезет свою дремучесть.

Им все кажется, что культурой является не опера “Леди Макбет Мценского уезда”, а статья “Сумбур вместо музыки”, что культура — это не стихи Ахматовой или проза Зощенко, а постановление ЦК о литературных журналах, что это не Иосиф Бродский или поэты Лианозовской школы, а газетные статьи с незабываемыми названиями типа “Окололитературный трутень” или “Тунеядцы карабкаются на Парнас”.

Много, дорогие мои идиоты, в отечественной истории таких примеров. Постарайтесь припомнить, где теперь авторы этих постановлений и этих статей. Ко мне за помощью не обращайтесь: я тоже не помню. И никто не помнит. И не вспомнит.

Град без гада

Довольно уже давно, в начале 80-х годов, когда, как говорится, “ничто не предвещало”, я зачем-то написал у себя в блокноте: “Грядет эпоха переименований”. Что конкретно я имел в виду, я, честно говоря, не понял тогда, не очень понимаю и теперь. Но написал. И запомнил почему-то.

А в начале 90-х и правда пошло-поехало. И я вспомнил про свою тогдашнюю запись. Но подобная эпоха была на моей памяти уже не первая.

Я был чувствительным подростком, когда на бурной волне двусмысленной и по большей части косметической хрущевской десталинизации сносили памятники бывшему вождю народов, в том числе и в моей школе, где — помню как сейчас — на втором этаже, рядом с директорским кабинетом, на фанерном, обитом красным кумачом ящике стоял белый бюст с гипсовыми усами.

Убрали из моей школы. Убрали из всей страны. А потом убрали и одноименный труп, снова оставив Ильича в элегическом одиночестве. И тихонько зарыли его неподалеку, у красной кирпичной стены.

Ну, и все переименовывали, конечно. А ведь, надо сказать, было чего переименовывать. Работа, что называется, кипела. Вот скажите, кто из москвичей помнит, как прежде называлась, например, станция метро “Семеновская”? Ну да, вы угадали. Или был, допустим, Институт стали и сплавов имени Сталина. А стал — имени Ленина. И остряки, конечно, немедленно придумали шутку про то, что “Институт стали переименован в Институт лени”. Ну, и про Волгоград, конечно, шутили. Примерно в том духе, что “Сталин переименован в Волгина”.

Да и вообще весело было.

А в наши дни медленно, но верно все это дело пошло назад. И началась новая эпоха переименований. Для кого-то она, эта эпоха, служит благим знаком возвращения утраченной великодержавности, для кого-то — мрачным знаком соскальзывания в “совок”. Но в любом случае это знак.

Любое переименование, любое возведение или снос памятника, церкви, монастыря, мемориальной доски есть акт сакральный, независимо от целей и намерений переименовывателей. Особенно в нашей стране, где традиционно столь могущественна роль знака, символа, монумента, портрета, выпела, гимна.

Любое переименование — это, с одной стороны, попытка любой новой метлы начать историю с чистого листа, что, попутно заметим, иногда вполне удается в стране, где и без того хотя бы сносное владение исторической памятью — удел немногих.

С другой стороны — любой символический акт поругания-возвеличивания есть факт истории, о котором культурный человек забывать не вправе.

Вот был, допустим, когда-то город Петербург, который у людей моего поколения ассоциировался с Пушкиным, Достоевским, Блоком, балами, карета-

ми, декабристами и Серебряным веком со всеми его “Бродячими собаками”. Потом на его месте возник город Петроград, где случились две подряд русские революции.

Потом на этом же месте возник город Ленинград, название которого ассоциируется не столько с историческим лицом, выступавшим под псевдонимом Ленин, сколько с трагической блокадой. Для моей семьи Ленинград — это еще и Ленинградский фронт, где с первого до последнего дня провоевал мой отец.

Географические названия, ставшие названиями историческими, далеко не всегда связываются напрямую с именами, положенными в их основу. Мне, например, станция метро “Библиотека Ленина” ни о каком Ленине не напоминает даже отдаленно. Как, кстати, и сама библиотека. Ленинка и Ленинка. Была и есть. И при чем, казалось бы, тут этот злополучный ее однофамилец?

Я вообще-то противник всяческих переименований, сносов и прочих антиисторичных пятновыводителей.

Стоял себе когда-то в центре Москвы храм Христа Спасителя. Стоял и стоял. Особого эстетиче-

ского восторга у искушенных столичных эстетов не вызывал — они называли его “чернильницей”. В начале 30-х эту чернильницу взорвали. И, конечно же, не из эстетических соображений, а чтобы на месте реакционного культового сооружения возвести другой храм, буквально до небес, — Дворец Советов. И Дворец Советов в результате не задался, а вот бассейн там был, и ходили в этот бассейн несколько поколений москвичей и гостей столицы. При Лужкове в рамках восстановления исторической справедливости снова выстроили храм, весьма похожий на первоисточник, только еще более уродливый.

Восстановлена ли таким образом историческая справедливость? Думаю, нет. И даже наоборот. Поэтому что сталинское истребление храмов было событием историческим, ничуть не менее историческим, чем их возведение. Восстановление порушенного храма имеет отношение не к исторической справедливости, а к попытке подправить историю. Какой такой Сталин? Какие такие салфеточки-подковки? Как это взорвали? Да вот же стоит на своем месте как ни в чем не бывало. Как это советская власть ссылала и истребляла духовное сословие? Да вот же оно,

это сословие, любовно выращенное в лубянских лабораториях. Вот же, смотрите, какие сытые красавцы в рясах у нас тут сидят-стоят и на “мерседесах” рассекают! И Сталина славят. И правильно, что славят. Потому что нет более лучшего друга всех верующих, чем он. И с кощунниками всех мастей мы станем бороться его светлым именем. А кто против Сталина, тот против Бога. Понятно? Конечно, понятно, что ж тут непонятного.

Надо ли было сносить храм? Нет, разумеется. Надо ли было его восстанавливать? Тоже нет. А вот памятник на этом месте был бы очень кстати. Скорбный памятник, напоминающий о том, что история — это не дырявый забор, который можно подлатать да подкрасить.

То же и со Сталинградом-Волгоградом. Вполне возможно, что не следовало делать из него Волгоград. Возможно, он должен был бы оставаться Сталинградом. И этот топоним вполне смог бы со временем стать столь же привычным и даже нейтральным, как и упомянутая уже “Ленинка”.

Для жителей Европы Сталинград — это не столько город, названный именем Сталина, сколько могучий символ мужества и героизма, напомина-

ние об одном из важнейших событий Второй мировой войны.

Да, возможно, не следовало бы переименовывать этот город. Но это было сделано. И города Сталинграда уже нет. И никогда его не будет, даже если он снова станет так называться. Потому что этот ребрендинг даже в его комической, бесконечно абсурдной версии — на шесть дней в году — уже не будет означать ничего, кроме попыток гламурной жупльнической ресталинизации.

Сталинизм в его новом, прибалтнено-православном изводе — это не только дань своеобразной гламурно-державной моде, в соответствии с которой “Сталин” со своими великими пятилетками в четыре года вполне вальяжно уживается с евроремонтом, вай-фаем и шенгенской визой — самыми, видимо, наглядными достижениями сталинской эпохи. Это еще и дань низовому, так сказать, сталинизму, сталинизму послесталинскому, то есть вполне протестному пафосу определенной части населения, пропитанной приютским сознанием, где живет тоска по справедливости, понимаемой как гарантированная тарелка супа на человека. Это сиротская тоска по утраченному отцу, который и накормит, и накажет,

и погладит, и защитит от пацанов с соседней улицы. При Брежневе, например, тот Сталин, благородная симметрия усов которого украшала ветровые стекла грузовиков, был фактически оберегом, призванным отгонять и укрощать злых гаишных духов. Речь идет и об этом Сталине тоже.

Именно о нем идет речь, а не о том городе в руинах, в честь которого названы улицы и площади во многих городах Европы.

Взрывоопасное слово

До понимания того, что слова — это всего лишь слова, надо дорасти. Далеко не все успевают. Поэтому многим из нас свойственно либо слепо доверять словам, либо испытывать по отношению к ним иррациональную, но вполне отчетливую ненависть, либо их смертельно бояться.

В последнее время все чаще звучит в разных контекстах сакральное слово “революция”. Мы произносим его со сложными и разнообразными чувствами: надеясь, ужасаясь, трепеща, содрогаясь —

и всегда ощущая, что наши глаза загораются помимо нашей воли.

Вот и я, человек своего поколения, своего социально-культурного опыта и своих базовых убеждений, однажды в одном интервью на вопрос, как можно одним словом обозначить то, что сейчас происходит, сказал: “Революция”. Тут же я добавил, что я говорю о гуманитарной, а не о социальной революции, но, если честно, сам себе удивился. А потом и задумался.

В годы советского детства я и мои сверстники, конечно же, любили слово “революция”. Как, впрочем, и саму революцию, данную нам, в отличие от поколения наших родителей, не столько в наших ощущениях, сколько в готовых литературных, кинематографических или скульптурно-живописных образах. Революция — это героизм, романтика, победоносная борьба сил добра с силами зла. А как же еще.

Революция — это петроградский мальчишка, наш сверстник, лихо карабкающийся на чугунные ворота Зимнего дворца. Именно этот винтажный кинокадр из года в год перед октябрьскими праздниками показывало телевидение в качестве доку-

ментальной кинохроники. О том, что этот кадр был безмятежно заимствован из вполне игрового кинофильма Эйзенштейна и что никакого штурма Зимнего не было вообще, мы узнали сильно позже.

Дуновения сначала робких, а потом и отчетливых сомнений по поводу “революции” достигли наших чувствительных душ уже позже. А сначала были образы, понятия и слова, так сказать, абсолютные, непоколебимые. Например, слово “Аврора” долгое время означало лишь название легендарного крейсера. А уже потом выяснилось, что это еще и имя античной богини, названной так, видимо, в честь героического корабля, исключительная роль которого в установлении нового миропорядка, кстати, тоже через какое-то время стала вызывать некоторые вопросы.

С “Авророй” мне запомнился такой вроде бы простенький, но симптоматичный эпизод. В классе, кажется, четвертом мы с моим другом-одноклассником Смирновым страшно увлеклись античными мифами. И настолько увлеклись, что целыми днями изображали из себя всевозможных богов и героев, не говоря уже о том, что повсеместно, когда надо и когда не надо, щеголяли их звучными нездешними именами.

Дошло до того, что Смирнов, опоздав, как обычно, на урок, на усталый и вполне риторический вопрос учительницы Антонины Сергеевны, почему это он опять опоздал, бодро и остроумно, как казалось ему и как, между прочим, до сих пор кажется и мне, сказал: “Я, Антонина Сергеевна, находясь в объятиях Морфея, не заметил приближения Авроры”. Ну не говорить же “я проспал”, в самом-то деле.

“Ты, Смирнов, с этим не шути”, — не без зловещих обертонов в голосе сказала историчка Антонина Сергеевна, или Антошка, как мы ее называли между собой. И этот ее ответ может быть вполне понятен лишь в контексте общего понимания того, что та мифология и тот пантеон, которым была твердо привержена она, были в тот момент однозначно первичными по отношению к тем, которыми были увлечены мы.

Десакрализация советских мифов и символов была процессом сложным и болезненным. И на сегодняшний день в среде исторически вменяемых людей при слове “революция” не может не возникнуть богатый пучок ассоциаций, где на переднем плане мы, конечно, видим опоясанного пулеметны-

ми лентами пьяного матроса “с винтовкою в одну, с револьвером в другую” и с горстью подсолнечных семечек в кармане. Мы видим, как этот матрос, краса и гордость революции, “сымает” с себя портки и с блаженным выраженьем на лице, кряхтя и похотывая, ритуально гадит на мраморную лестницу Зимнего дворца, обозначая именно таким образом, а не холостым залпом упомянутого крейсера, начало новой эры в истории всего человечества.

Мы все чаще и чаще упоминаем слово “революция”. Но мы и боимся этого слова, потому что более или менее знаем, где мы живем.

Потому что мы знаем, что революция — это взрыв. А также мы знаем, что взорвать можно скалу, дворец тирана или здание тюрьмы. Но нельзя взорвать болото. И мы знаем, что взрыв на болоте — это всего лишь великое множество веселых, зрелищных, эффектных брызг, среди которых, может быть, даже вдруг и заиграет веселая радуга, но уж точно ненадолго. Мы знаем, что брызги осядут, а болото останется. И останутся его постоянные обитатели, многие из которых даже и не заметят никакого взрыва, никакой такой особенной революции, потому что они всегда заняты серьезным делом — пусканием

мутных пузырей, которые они иногда называют духовностью. Болото, увы, нельзя взорвать, его можно только осушить. Но на это нужны десятилетия твердой и ясной коллективной воли. Ясное общественное осознание этой самой воли и можно будет, пожалуй, назвать революцией, то есть тем словом, которое можно уже будет произносить не с ужасом и не с унылой тоской, а с бодростью и надеждой.

Признак бродит

Явление под общим и не всегда точным названием “фашизм”, возникшее и расцветшее в XX веке, аккумулировало всю темную архаику, все суеверия и вековые предрассудки прошедших веков и, выстроившись мрачной свиньей, пошло в смертельную атаку на ненавистную и мучительно страшную свободу. Меня время от времени формы, методы, риторику и самоназвания, идет и теперь.

Самый глубинный фундамент фашизма — любого фашизма, любой его разновидности, любой

степени экспансионистских амбиций — это даже не вождизм, не стремление к унификации всех форм общественной и культурной жизни, не жесткая опора на “вековые традиции”, предания, мифы, легенды, пословицы, поговорки, загадки и отгадки, не раздутый культ силы, здоровья и лишенного какой бы то ни было рефлексии социального сангвинизма, не культ государства как древнего идола, требующего человеческих жертвоприношений, не примат монологического типа сознания над диалогическим, не “простота”, положенная в основу общественного сознания, и не третирование любой “сложности” как импортного средства для зловердного запудривания и развращения простых бесхитростных мозгов.

Это всё — да, разумеется. И это, конечно, верные его признаки. Но именно что признаки.

В основе же всего этого — ненависть. Легитимированная, получившая волю и высочайшее одобрение, направляемая с разной степенью умелости. И, конечно же, иезуитски прикрываемая различными репрессивными мероприятиями по поводу, конечно же, “возбуждения ненависти”. А вы как думали? Не дураки сидят.

Объекты ненависти могут быть самыми разными. И не в них дело. Дело в самой ненависти. Она первична, а объекты ее вторичны. Объектами ее в разные времена, в разных местах и в разных группах населения могут становиться “городские”, “деревенские”, “левобережные”, “правобережные”, приезжие, евреи, русские, китайцы, Америка, очкарики, отличники, богатые, рок-н-ролл, джаз, абстракционизм, женщины, мужчины, классическая музыка, соседи, верующие или, что чаще, верующие не в то, во что веришь ты, атеисты, генетики, дарвинисты и болельщики “не той” команды.

Самым же заветным и лакомым объектом лютой ненависти является ее изначальный враг и антипод. То есть любовь. Позорная и стремительно набирающая обороты гомофобская вакханалия последних недель свидетельствует именно об этом.

Фашизм определяется и описывается не объектом ненависти, а лишь самой ненавистью и степенью ее интенсивности. И чем более ненависть иррациональна, тем более она разрушительна. И для личности, и для общества, и для истории.

И лишь один вид ненависти не только рационален, но и спасителен, необходим с точки зрения ин-

стинкта самосохранения человеческой цивилизации и человеческого в человеке. Это ненависть к фашизму. И в этой ненависти я чистосердечно признаюсь.

А нынешний фашизм, особенно фашизм местного разлива, называет себя как угодно, но только не фашизмом. Зачем? Еще чего не хватало. Все же знают, что фашизм — это когда немец из старого советского фильма про войну: в каске, с автоматом. Это нарукавная повязка со свастикой. Это когда “матка, яйца, млеко, хайль гитлер и гитлер капут”. Фашизм — это то, что “мы” победили, а всех остальных, свиней таких неблагодарных, освободили, а они теперь нос воротят и “в Нату вступают”.

И, между прочим, главные и даже второстепенные персонажи российской власти и вправду никакие не фашисты. Фашизм — это аскетичная и по-своему честная страсть. А эти слишком уж привержены радостям жизни и слишком любят разную там подвижность и недвижность. Нет, они не фашисты, а просто очень циничное, очень ограниченное, очень бездушное, лишенное воображения и исторической памяти жулье.

Но они решили выпустить фашизм порезвиться на воле, погулять по буфету. Они, метафорически

говоря, решили выпустить на волю пациентов желтого дома, чтобы те наконец навели порядок в городе. И вот эти весьма причудливые, но совсем не безобидные существа выпукло обозначились на поверхности общественной жизни — кто с красными казачьими лампасами и игрушечными медальками “За взятие пивного ларька”, кто с крестами и хоругвями, кто в трениках и бейсболках, кто в форме полицейского, кто с журналистским удостоверением в кармане, кто с депутатским значком на лацкане пиджака, кто со званием профессора кафедры Геополитического Протезирования Высшей Академии Прикладной и Сравнительной Космогонии.

Власть в целях борьбы со свободой и человеческим достоинством, с которыми она решительно несовместима, включает фашизм, как включают бензопилу, с уверенностью в том, что как ее включили, так и выключат, когда в ней отпадет нужда. Ну-ну...

Оглянись вокруг себя

“И тут я стал замечать, что во все время нашей, казалось бы, непринужденной и вполне доверительной беседы мистер Джинглс время от времени обменивался со своим компаньоном короткими выразительными взглядами и, как мне показалось, при помощи движения рук посылал ему какие-то тайные знаки”.

Ну вот что-то подобное нам всем приходилось читать. Особенно в детстве.

Тайные знаки, в общем. Но ведь и безо всякого мистера Джинглса мы все живем в окружении тай-

ных знаков, иногда их вовсе и не замечая. Тайные знаки, которыми “обмениваются”, не являются тайными хотя бы для двух человек — для того, кто их посылает, и для того, кто является их адресатом. Но сколько же вокруг нас тайных знаков, которые явными не являются ни для кого. И никогда. И не надо даже пытаться их расшифровывать. Все равно ведь ничего не поймем, а лишь окончательно расшатываем себе и без того расшатанные нервы, приобретем совершенно несвойственную нам мнительность и — не дай бог, конечно, — конспирологический взгляд на окружающую реальность.

Самое лучшее и правильное, что мы можем сделать с тайными знаками, — это прописать их на территории искусства, являющегося, как известно, пространством неограниченных интерпретационных возможностей. Бывают тайные знаки, так сказать, попроще. Хотя если учитывать контекст (а не учитывать его нельзя), то наше воображение все равно помимо нашей воли начинает свою кипучую, хотя и явно непродуктивную работу.

Близкий пример. Буквально вчера рядом с Рижским рынком мой взгляд сам собою зацепил надпись на окошке одного из ютящихся там киосков.

Надпись была такой: “В продаже пива нет”. Мы, горожане и гости нашего города, конечно же, понимаем, о чем идет речь. О том, что “пива нет и не будет”. Но неясный, мерцающий синтаксис этого сугубо прикладного сообщения не может не спровоцировать глумливых спекуляций типа: “Ага, если в продаже пива нет, то не значит ли это, что оно все же есть, но только бесплатное?”

Никто никакого тайного знака нам, конечно, не посылал, но мы сами выудили его из мутного потока уличной информации и практически машинально определили его по художественному ведомству. Точно так же, как мы это делаем всякий раз, когда обнаруживаем, что нечто, написанное на двери учреждения или услышанное нами в городском транспорте, оказывается стихотворной строкой. Вроде того, как я когда-то, проходя чуть ли не ежедневно по одной и той же улице и наткаясь на объявление “Приемный пункт стеклопосуды”, помимо собственной воли пытался продолжить этот пленительный еще со времен школьного детства четырехстопный ямб. Как-нибудь вроде: “Приемный пункт стеклопосуды! Как много связано с тобой!” И так далее.

Но бывают знаки настолько тайные, что при любой, даже самой робкой попытке их расшифровки ты обескураженно натыкаешься носом на шершавую бетонную стену.

Тоже буквально на днях я выходил из метро “Щелковская”. Там на выходе всегда толпятся какие-то люди, одни из которых предлагают вам купить у них сиамского котенка, другие довольно назойливо приглашают прямо сию секунду отправиться на автобусе в город Иваново, третьи впихивают тебе в руки рекламу нового салона вечной красоты.

В этот раз между высоченным негром, раздававшим рекламки неизвестно чего, и печальной старушкой, державшей в руках три-четыре поникших тюльпана, я заметил очень, надо сказать, странного человека. Лицо его было совершенно неподвижным и, я бы даже сказал, каким-то мертвым. Глаза его были так же неподвижны и не выражали ничего особенного. Двумя пальцами он держал спичечный коробок.

Спичечный коробок, вообще-то, для человека моего поколения или для тех, кто постарше, сам по себе является источником мощнейшего пучка самых разнообразных ассоциаций.

Там в свое время размещались два майских жука, принесенных тобою в школу и при первой возможности отправляемых за шиворот пронзительно визжавшей однокласснице. Там мог застенчиво притулиться небольшой кусочек кала, каковой время от времени велено было притаскивать в медицинский кабинет на предмет вполне вероятных глистов.

Из нескольких пустых коробков сооружались поезда, которые, нещадно гудя и громыхая, следовали по столу из пункта А в пункт Б, то есть от сахарницы до солонки.

Не забудем и о популярной игре в “коробок”. Надо было его лихо подкинуть над столом, и если он падал узкой короткой стороной, то ты зарабатывал пятьдесят очков, если узкой длинной — двадцать, плашмя этикеткой вверх — десять, плашмя, но вверх пустой синей бумажкой — ноль.

Никак нельзя забыть и о том, что в коробках этих бывали иногда и собственно спички, те самые, которые “детям не игрушка”. Ну конечно! Еще как даже игрушка.

И я зачем-то спросил у этого странного человека, сколько стоит предлагаемый им товар. Глядя

мимо меня и не разжимая зубов, он прошелестел: “Двадцать пять рублей”.

И я почему-то купил у него этот коробок.

Выйдя на поверхность, я привычным, хотя и полузабытым жестом энергично встряхнул коробком, рассчитывая услышать веселый погремучесный звук. Нет, коробок молчал.

И я раскрыл его. Ни одной спички в нем не было, но зато в нем был плотно сложенный кусок белой бумаги. И я стал неторопливо и взволнованно его разворачивать. Надежда на приключение? Всплывшие на поверхность памяти дети капитана Гранта? Ожидание счастливого сюрприза? “Вот-вот, сейчас-сейчас”, — отступкивало мое впавшее в детство сердце.

Нет, друзья. Развернутый клочок бумаги был недвусмысленно пуст. И я отчетливо понял, что это был знак. Тайный. Настолько тайный, что я даже и не стал предпринимать заведомо бесплодных попыток его толкования.

Но зато я понял, что этот странный, не поддающийся толкованию эпизод я уже не забуду.

И я буду его время от времени рассказывать, всякий раз расцветивая его новыми мелкими, но яр-

кими деталями. И я буду время от времени размышлять о нем, неторопливо и сосредоточенно вглядываясь внутрь себя самого. И это, между прочим, не так мало, как это может кому-нибудь показаться.

Товар “Сталин”

Не так давно я сидел в компании молодых людей. Симпатичных, неплохо образованных, современных в самом благоприятном значении этого слова. Разговор наш, как это обычно и бывает, перетекал с одной темы на другую. Они были мне необычайно симпатичны, я им, кажется, тоже. Говорили мы на более или менее одном языке, несмотря на существенную разницу в возрасте. А потому и эта разница в какой-то момент решительно забылась. И ими, и мною. Но в какой-то момент — не помню,

в каком контексте, — я сказал, что хорошо помню день смерти Сталина. Что я помню этот день очень ярко, хотя был совсем мал — мне только что исполнилось шесть лет. И тут возникла неловкая, слегка недоуменная пауза. Я понял ее значение: вот сидит рядом с ними человек, хотя и немолодой, но все же их современник, и при этом помнит живых динозавров.

Да, именно динозавров. И дело давно уже не в самом Сталине. Для нескольких поколений он давно уже поселился в общем музейном подвале, где пылятся меч Чингисхана, посох Ивана Грозного, треуголка Бонапарта и хрущевская кузькина мать.

Сталин давно уже не реальный — из крови и плоти — персонаж истории, не ее субъект. “Сталин” — именно так, в кавычках, — уже давно стал темным, потаенным мифом, бабушкиной сказкой, заветным символом барачно-слободской “справедливости” и прочего сивушно-византийского “величия”. И все это, какими новомодными “смыслами”, “проектами” и шулерскими геополитическими пассажами оно бы ни прикрывалось, все равно сводится к старой, но надежной в своей “последней прямоте” формуле, к той самой, где “в тесноте да

не в обиде зато пятилетка в четыре года и какую войну выиграли ну и что с того что сами без порток остались нам и так хорошо потому что жила бы страна родная и нету других забот и гагарин с белкой-стрелкой а у них там только педики да битлы лохматые а у нас духовность и ледокол ленин и по четвергам рыбный день и соседа за махинации посадили а мы живем честно потому что даже воровать толком не научились а товарищ сталин таких как вы между прочим болотных засранцев сразу бы к стенке и солнце бы навсегда засияло над раёном если бы конечно не зима девять месяцев и черный дым да и хер с ним с дымом отцы-деды жили и мы проживем и чурбаны с лопатами тогда по кишлакам прятались потому что фонтан дружба народов на сельскохозяйственной выставке а весь мир нас боялся и только нос зажимал потому что мудаки и это правильно и мы им еще и не такое можем устроить если товарищ сталин артиллеристам даст приказ и хватит блять кормить кавказ и эх раз да еще раз американец пидарас".

Именно это все и укладывается в короткое слово "сталин". И не надо изумляться такой его поразительной живучести. Это слово живуче ровно

настолько, насколько живуча приведенная выше формула, которую можно при желании удлинить до нескольких толстых томов, а можно и сжать до двух выразительных слов, выкрикнутых однажды на все телеэкраны мира российским футболистом, запустившим мяч в европейское окошко с бездуховной геранью.

А она, эта формула, — да, живуча. Потому что она цельна, едина и неделима, как чугунная гиря, прикованная к ногам и без того малоподвижной российской истории. И эта гиря необычайно живуча, даже если она к нашим дням настолько “модернизировалась”, что свой темно-серый колхозно-военно-промышленный колер сменила на вестернизированную джинсовую расцветочку, получила доступ к интернету, научилась пользоваться китайскими палочками и с ходу отличать виски от кальвадоса.

В наши дни книжные магазины буквально кишат, вроде как коммуналки моего детства кишели рыжими прусаками, книгами о товарище Сталине. Их много, и названия их вполне однотипны.

Пишут все кому не лень. Товар, видимо, ходовой — иначе не издавали бы. Рынок все-таки. Какой-никакой, но рынок.

Очень многие авторы изображают вождя в радужных, чтобы не сказать искрящихся тонах. Дело, конечно, не в том, что эти авторы такие уж прямо упертые сталинисты. В большинстве случаев вполне очевидно, что им все равно. И логика проста: со всякими разоблачениями да поруганиями уже ужас как надоели, поэтому и товар этот как-то не идет. Сколько же, типа, можно? Хватит уже. Теперь давайте вот так: сколько-то лет носили короткое и в талию, а теперь пришло время широкого и длинного.

Запрос на “хорошего Сталина” и правда велик. Потому что населению нужен положительный герой на все времена. Строгий, справедливый, в усах, погонах и с ласковым прищуром непостижимых глаз. Такой, какого когда-то в раннем детстве ты видел вырезанным из старого “Огонька” на стене в бабушкиной деревне, где ты проводил каникулы. Чтобы этот загадочный образ перемешивался в твоей памяти с запахом парного молока и прелой соломы.

Некоторые мыслители наших дней из различных “аналитических центров по борьбе с историей” любят говорить о том, что пора “объективно” оценить личность и деятельность “кого следует”, потому что, видите ли, “наш народ” хочет не болезнен-

ной правды, а покоя без воли. “Народ”, говорят они, ошибаться не может. Любит, значит, есть за что.

Нельзя сказать, что он до сих пор не умер. Умер, разумеется. Но так и не похоронен. И его скелет покоится в казенном шкафу с инвентарной биркой на дубовой дверце, зловеще погромыживая сухими костями при любой попытке сдвинуть этот шкаф с места.

Козлы и дети

В наши дни то тот, то другой видный деятель органов власти или просто “органов” балует нас откровениями на предмет литературы или искусства. Чуть ли не впервые за послесоветские годы заинтересовались они разумным, добрым и вечным, переделав, по-видимому, все прочие важные дела, порешав все насущные вопросы и достойнейшим образом ответив на все дерзкие вызовы неутомной современности.

Что, попутно заметим, всегда было тревожным симптомом. Когда власть начинает задаваться во-

просами искусства, литературы или, допустим, языкознания — с позиций казарменного марксизма или “традиционных ценностей”, — становится ясно, что для искусства и гуманитарной науки наступают нелегкие времена. Но и интересные: искусство, знаете ли, легких путей и не ищет. Иначе оно никакое не искусство, а сфера обслуживания, каковой его столь упорно считает всяческое начальство.

А поскольку литература, как и родина, начинается с картинки в твоём букваре, то и заговорили они вдруг о школьной программе по литературе. Ну, а как еще. До самой литературы они в силу временного отсутствия единственно верного учения, а также очевидной короткорукости пока не дотянулись. А школу может обидеть любой. Школа-то вот она, под рукой. И учителя-бюджетники всегда под рукой. Не все же в школах только выборные мужлежи устраивать. В школах ведь еще, говорят, и учат. В том числе и литературе. Все еще. Кое-как, но все же.

Недавно из гомогенного начальственного вещества высунулось озабоченное лицо председателя комиссии Общественной палаты по сохранению историко-культурного наследия (есть, оказывается, такая комиссия) по фамилии Пожигайло. Ни за что

бы не позволил себе табуированных в приличном обществе шуток, связанных с именами-фамилиями реальных людей, если бы отчетливо гоголевское звучание этого славного имени не перекликалось столь навязчиво с поднятой им же проблемой. Именно потому, что озаботился он именно русской классикой и ее школьным преподаванием.

Тут лучше не пересказывать, а процитировать. Итак:

Изучение сказок Михаила Салтыкова-Щедрина в школах должно быть поставлено под особый контроль, поскольку они представляют потенциальную опасность для детей. Такое заявление сделал Павел Пожигайло, рассказывая о новой концепции школьного курса литературы. Новая концепция преподавания этого предмета призвана «ориентировать учителей на воспитание в детях через литературные образы гордости за нашу многонациональную страну, глубокого и спокойного патриотизма, уважения к различным культурам, на формирование в учениках ценностей крепкой традиционной семьи». Для достижения этой задачи, утверждают авторы концепции, необходимо

помогать школьникам в “правильном” понимании опасных для них текстов, а ряд произведений вовсе исключить из программы.

Помимо сказок Щедрина, к числу потенциально опасных текстов Общественная палата отнесла критические статьи Виссариона Белинского, гражданскую лирику Николая Некрасова, “Трозу” Александра Островского, “Отцов и детей” Ивана Тургенева. Изучение творчества этих авторов, по словам Пожигайло, нужно поставить под особый контроль. “Будет разработана специальная методичка для учителей, в которой будет четко прописано, что следует рассказывать детям про эти произведения”, — рассказал он.

Опасность некоторых из названных текстов Пожигайло видит в том, что их персонажи могут быть восприняты подростками как образцы для подражания. Поэтому учителям вменяют в обязанность разъяснять, какое поведение героев правильное, а какое нет.

Ну, в общем, понятно. И даже не знаю, нуждаются ли в комментариях всяческие “помогать школьникам в правильном понимании опасных текстов”

или “методички для учителей, в которых будет четко прописано, что следует рассказывать детям про эти произведения”. Замечу лишь, что с трудом представляю себе хотя бы минимально уважающего себя учителя, который стал бы преподавать литературу по “четко прописанному”.

У советской власти взаимоотношения с русской классикой и с ее школьным преподаванием были непростыми. С одной стороны, она, власть, всеми силами пыталась приватизировать классическое наследие с целью повышения собственной легитимности. Хотя бы в своих собственных глазах. С другой — вся русская литература, прочтенная неподвзятыми глазами, отчетливо была “против них”. И некоторые из них это хорошо понимали.

Не было ничего более разоблачительного для них, чем русская и мировая классика. Вот они и вертелись как могли, оказавшись в сущности заложниками собственных тотальных амбиций. Вот они и камлали тогда с высоких трибун про то, что нужны, мол, нам свои Щедрины и Гоголи. Впрочем, разумеется, нужны-то им были такие Гоголи, которые бы — в соответствии с едкой эпиграммой того времени — их не трогали. И все же...

И так называемая школьная программа делала два дела одновременно. Заставляя учить наизусть, допустим, “Памятник”, она не только прививала умение запоминать тексты, но и учила тому, что можно, оказывается, в свой жестокий век восславить свободу и что этот жестокий век отнюдь не закончился с выстрелом “Авроры”. И в то же время, уныло талдыча о литературе как о громоздкой иллюстрации к “трем этапам освободительного движения”, она вызывала устойчивое отношение к классике как к унылому отстою.

Всякое начальство — что тогдашнее, что нынешнее — понимало и понимает литературу исключительно как пропаганду. А что может “пропагандировать” художественная литература, кроме хорошего вкуса, недоверия к фальши и ответственного отношения к слову? Если та или иная литература ставит своей целью пропаганду чего бы то ни было, то она по определению никакая не литература, а именно пропаганда и есть. Вот они, начальнички, беспрерывно и говорят о “пропаганде”. Они с утра и до вечера принимают какие-то свои ни к чему не имеющие отношения законы по “противодействию” той или иной пропаганде. Ну, это понятно. Им се-

годня насущно нужна монополия на пропаганду. Неважно чего — чего-нибудь. Главное, чтобы их пропаганда не имела конкуренции.

И, конечно же, все время они талдычат об “опасности”.

Неподготовленному человеку, которого не научили восприятию художественного текста как именно художественного, а не “пропагандистского”, не научили понимать литературу как искусство, а не как “руководство к действию”, не научили тому, что автор и его персонаж не тождественны друг другу, не научили тому, что “сказка — ложь”, хотя и есть в ней тот или иной намек, не научили тому, что бывают смыслы прямые и переносные и что существуют на свете такие штуки, как метафора, гротеск, интонация, — такому человеку и правда опасно читать литературу вообще и классику в частности. Потому что, прочитав, скажем, “Героя нашего времени”, он непременно захочет в кого-нибудь пальнуть из дуэльного пистолета; прочитав “Преступление и наказание”, испытает мучительную потребность в целях преодоления своего финансового кризиса мочкануть пару-тройку старушек; прочитав “Игрока”, он пойдет и продует в казино мамашину

пенсию; прочитав “Москву — Петушки”, отправится в затяжной запой, а прочитав “Лолиту”, потащит в койку первую же попавшуюся пионерку.

Но если литературу — в силу ее сугубой “опасности” — не давать читать вовсе, то и ее адекватному пониманию и восприятию никогда не научишься. Порочный, как говорится, круг.

Примерно таковы же разговоры о чьей-то неготовности к свободе. Ага, только откуда бы этой готовности взяться при полном отсутствии наличия таковой свободы?

Это вроде старого анекдота про то, что “когда мы в этом бассейне научимся плавать, нам, может быть, и воду в него нальют”.

Кстати, об опасности того или иного чтения в детском возрасте.

Буквально только что я перечитал “Графа Монте-Кристо”, книжку, которую горячо, что и естественно, полюбил в детстве. Перечитал впервые после моих далеких тринадцати лет. Дойдя до того места, где персонажи романа в подземном дворце употребляют гашиш и подробно рассуждают о его чудодейственных свойствах, я удивился, как я смог совсем забыть, а может быть, даже и не заметить эту

яркую и безусловно опасную сцену при первом чтении. Наверное, мне это было просто неинтересно. Куда интереснее были, конечно же, побеги и дуэли, любви и коварства, благородства и предательства, вознаграждения и возмездия. А непонятный гашиш — нет, не был интересен. А главное, видимо, то, что никого не оказалось тогда рядом со мной, чтобы помочь мне в “правильном понимании опасного для меня текста”.

Хороших учителей литературы во все времена было ничтожно мало. Поэтому их запоминали на всю жизнь. Лишь немногим счастливицам удавалось сквозь мутный туман школьной литературы разглядеть саму литературу. Но зато эти немногие жили с ней бок о бок всю свою жизнь.

Мне в школе с учителями не везло. А потому и литературу я полюбил не благодаря, а вопреки школьной программе с ее невразумительным “скажи-ка дядей самых честных правил”. И полюбил я, конечно же, в первую очередь то, что в школьную программу не входило. Любовь к Гоголю, Толстому, Чехову и Щедрину пришла позже, уже после школы.

Это я к тому, что, может быть, оно и хорошо, что из школьной программы уберут что-нибудь хо-

рошее. Хотя бы потому, что дети и молодые люди усилиями всякого начальства по привитию в них “через литературные образы глубокого и покойного патриотизма” приобретут не менее глубокую и спокойную аллергию на любое начальственное телодвижение и начнут наконец читать классическую и современную литературу. Особенно самую “опасную”. И начнут ясно понимать, что то, что опасно для спокойствия начальства, совсем необязательно опасно для каждого из них и для страны вообще. Уж скорее наоборот.

Социальная группа “Они”

Они — это те, кто все время грозит обществу державным пальчиком. Они — это те, кто судит и “содит”, посылая таким образом обществу убедительный, как им кажется, сигнал “стоять — бояться”.

Но они совсем не понимают, что возрастающее и разрастающееся с каждым днем брезгливое презрение к ним сильнее страха. Что для взрослого цивилизованного человека чувство личной гигиены существенно сильнее, чем опасение, что в глаза может попасть мыло.

Пытаясь сузить пространство гражданского, интеллектуального или художественного маневра до размеров квадратика неба синего и звездочки вдали, они очень скоро останутся одни на краю того рва, который отделяет их от всего общества. Именно всего и именно общества, потому что ту часть населения, сколь бы статистически весомой она ни была, ту часть населения, каковую они выбрали для себя в качестве единственной социальной базы и целевой аудитории, ту часть населения, вся житейская философия которой сводится к нескольким нехитрым, но сокрушительно незыблемым формулам — таким, например, как “начальству виднее” или “у нас зря не сажают”, — можно назвать как угодно, но только не обществом.

Взяв курс на “стабильность”, которая служит лишь вялым эвфемизмом социальной и культурной деградации, они приобрели врага в лице самой отечественной имировой культуры (а отечественная культура, наука и свободная мысль и есть часть мировой), то есть едва ли не того единственного, что хоть как-то оправдывает, очеловечивает и легитимирует печальную историю этого вечного недогосударства, ту самую историю, которую они вознамерились привести к “общему знаменателю”,

совсем упуская из виду, что и Бог не фраер, и история не шлюха, и ее, историю, общий знаменатель совсем не тот, что животом вверх всплывает на поверхность их ленивых прокисших мозгов.

Им-то все кажется, что история принадлежит им, что, типа, "нарисуем — будем жить". А между тем не только она не принадлежит им, но и они ей не принадлежат. Только те, кто существует вне истории, могут всерьез полагать, что историей можно управлять так же, как, например, партией "Единая Россия" или судебно-прокурорской машиной, не оснащенной ни тормозами, ни задней передачей.

Иногда кажется, что они совсем не читали никаких книг. Не только Щедрина и Кафку, но и сказок им в детстве никто не читал. И принимая свои "законы" — один нелепее другого, — они, похоже, не знают, чем закончилась история одной сказочной героини, пожелавшей стать владычицей морскою и чтобы сама золотая рыбка была у нее на посылках.

Но они не только смешны и нелепы. Они еще, разумеется, опасны и непредсказуемы, как опасными и непредсказуемыми бывают одичавшие уличные дворняжки. А опасность их усугублена еще и тем прискорбным и обидным для них обстоятель-

ством, что их никто не хочет признавать за настоящих хищников в законе.

Да, определенные меры предосторожности всем не помешают, тем более что некоторые из них обнаруживают вполне очевидные симптомы бешенства.

Но мы же все равно знаем, кто они такие. И они это знают. И они знают, что мы это знаем.

Но они, кажется, не знают того очень важного, что знаем мы. А именно того, что, хотя человеческая жизнь и удручающе коротка, по сравнению со сроками карьерной судьбы дворняжки, к тому же и обделенной человеческой любовью, она, человеческая жизнь, кажется настоящей вечностью. И эту свою краткую и неповторимую вечность неплохо бы прожить достойно — в том, разумеется, понимании достоинства, каковое каждый волен выбирать сам для себя. Но главное — не делегировать, насколько это возможно, даже мельчайшую частицу собственной воли им. Это, пожалуй, и есть тот самый общий знаменатель.

Вот и будем помнить об этом. Вот и будем исходить из этого и в своем повседневном поведении, и в оценке вещей.

Собирание знаков

Навстречу мне по Новому Арбату не слишком-то твердой походкой двигался молодой человек. Ничего особенного — такой, что называется, парень из нашего города. Обычный. Но при этом он всем своим внешним обликом, сам о том не подозревая, подавал городу и миру различные сигналы, причем в некоторых случаях противоречащие друг другу или друг друга нейтрализующие.

Во-первых, футболка с набранными на груди столбиком как бы анкетными данными. Всего из

трех, но очень важных слов: “Холост. Щедр. Богат”. Все это вместе укладывалось в еще более лаконичную, хотя и невидимую миру формулу-призыв: “Девки, налетайте!”

Прочие, хотя и менее бросающиеся в глаза сигналы если и не явно противоречили написанному, то уж точно вступали с ним в непростые логические отношения.

Например, бывшая белая футболка с многообещающими сообщениями была не просто откровенно грязновата (что вполне увязывается с холостым положением владельца, но плохо — с его богатством и щедростью), но и чуть пониже надписи, то есть на животе, намертво присохли красочные остатки какой-то явно вчерашней, а то и третьеводнишной субстанции (что имеет отношение, видимо, не только к неженатости, но еще и к обозначенной щедрости).

В отличие от несвежего пятна на майке приличных размеров фингал под его левым глазом был, напротив, свеж, как майский одуванчик с капелькой предутренней росы. О чем, интересно, сигналил он? Возможно, щедрый холостяк не слишком удачно отбивался от посягавших на его богатство алч-

ных невест? Похоже на то. Но и злобных завистников чужому богатству тоже не будем снимать со счетов. Все возможно.

И что нам с того, что все, скорее всего, куда проще и будничнее? Что нам с того, что и синяк на нем был куда более прозаического происхождения, и футболка была, скорее всего, просто чужой или, пуще того, найденной на бульварной скамейке?

Что нам с того, что разные сопутствующие нашей жизни события и воспринимаемые боковым зрением явления, скорее всего, случайны и хаотичны, а дикие людские поступки и не менее дикие высказывания чаще всего не сигналият нам ни о чем, кроме как о человеческой глупости?

Что делать, если многим из нас свойственно искать, а иногда и находить повсюду тайные знаки и многозначительные послания? Что делать, если многие из нас постоянно испытывают властную потребность связывать между собою иногда совершенно разнородные и разнонаправленные знаки, объединенные лишь пространственно-временными обстоятельствами?

Это все объяснимо. Неизбывная византийщина, служащая постоянным фоном нашей обще-

ственной и политической жизни, давно и прочно приучила видеть и слышать за любой ерундой поэтические смыслы.

Когда-то, в советские времена, существовали специальные умельцы вылавливать из случайных вроде бы впечатлений важные тенденции и составлять прогнозы — иногда глобального масштаба. Некоторые из которых, кстати, сбывались.

Хорошо помню, например, появление на политической сцене последнего генсека Горбачева. Важным тогда казалось не что он говорил, а как. Сам факт говорения без бумажки был знаком куда более сенсационным, чем содержание самих речей, да и не было там поначалу никакого особенного содержания. Все сразу запереглядывались и стали взволнованно спрашивать друг у друга: “Ты видел?”

Ну, или такая, казалось бы, совсем малозначительная косметическая деталь, как знаменитое пятно у него на голове. Оно явилось нам на телеэкранах. А на портретах в газете или на привычном иконостасе Политбюро пятно это было бережно заретушировано. И это несоответствие физического лица и парадного образа никого в те времена не удивляло — ну, а как еще. Кое-кто помнил молод-

цеватого безвозрастного Сталина, и уж подавно все помнили чернобрового и бравого орла-генсека, который к тому времени с трудом произносил слово “мама”.

Но вскорости все заметили, что Горбачев даже и на газетных портретах вдруг возник во всей своей пятнистой красе. И тогда мой старший знакомый, считавшийся в нашей среде тонким и проницательным толкователем неявных знаков, показал мне газету с портретом и спросил: “Ты понял, что это значит?” — “А разве это что-то значит?” — с легкомыслием профана спросил я. “Разумеется, — сказал он. — Это значит, что сажать не будут. А может быть, даже будут выпускать тех, кто сидит. А может быть, даже вернут Сахарова в Москву. А может быть, даже выведут войска из Афганистана”. Со стыдом признаюсь, что я тогда от души посмеялся над его фантазмагорическими пророчествами. А между тем..

И я тоже стал смотреть вокруг не просто так, а ловя знаки грядущих перемен. Так, например, я однажды заметил, что на зеленой лужайке у Ленинской библиотеки вальяжно разлеглась небольшая группка молодежи с книжками в руках и при этом их никто оттуда не погнал.

О том, что близко, мы лучше умолчим. Не из осторожности, нет. И не оттого, что нынешнее время бедно знаками, сигналами, приметами и, извините за выражение, трендами. Еще как даже богато! Но мы так много о них говорим и думаем, мы так много душевных и интеллектуальных сил тратим на обсуждение каких-то разводов, выражений лиц, якобы означающих что-то имен и фамилий, отдельных словечек и проговорок, тембров голосов, причесок, поворотов головы, что даже и случайный прохожий видится нам ходячим знаком. И это знак самый тревожный.

Филофобия

Я уже говорил — и не один раз — о таком трудно постигаемом общественном феномене, как ненависть к любви. Но эта иррациональная ненависть, точно так же, как и ее объект, то есть любовь, видоизменяется, обретает новые формы, ищет новых слов.

Те, кто в наши дни с тяжелым кабаньим сопением насаждает и поощряет в обществе различные формы ненависти к любви и свободе, напрасно считают, что выдумывают что-то новое. Они все время говорят — от имени народа, разумеется, — что их

(“как и всех россиян”) нравственные чувства глубоко оскорблены видом целующихся мужчин или целующихся женщин.

Повод для некоторого оптимизма все же есть. Потому что не так уж давно, то есть в масштабах одной человеческой жизни, такие же вечно обиженные не менее глубоко оскорблялись видом целующейся на эскалаторе разнополой пары. Я это, представьте себе, хорошо помню. А также, помню, они бесконечно оскорблялись видом коротких юбок, длинных волос, тщательно продранных на коленках джинсов, шорт, “ирокезов”, “хайратников” и прочих фенечек. Их нравственные и эстетические представления о жизни и “порядке” были глубоко оскорблены. Милиция же традиционно, в полном соответствии с заветами великой русской литературы вообще и Федора Михайловича в частности, всегда держала сторону униженных и оскорбленных, не без удовольствия и охотничьего азарта отлавливая на улицах городов оскорбителей общественной нравственности.

Что ж, можно говорить о том, что и любовь, и личная свобода медленно и мучительно, с тяжелыми позиционными боями и потерями все же посте-

пенно отвоевывают пространство своего насущно необходимого существования. Будут отвоевывать и впредь. И, конечно, отвоеют. Вопрос лишь в том, какими усилиями и с какими жертвами.

И ради справедливости согласимся, что у нас с этим делом все же несколько лучше, чем в некоторых других тридевятих царствах-государствах, где за шорты могут и забить камнями. Так что, как говорится, грех жаловаться.

Но и ненавистники вовсе не складывают рук. Само вещество ненависти — в полном соответствии с законом сохранения материи — лишь вливается в новые сосуды или впадает в различные агрегатные состояния. Бациллы ненависти, как это и свойственно бациллам, ищут и находят самые слабые, самые незащищенные, самые уязвимые места в общественном организме.

В том, что в основе гомофобской вакханалии последнего времени лежит не только и не столько глупость, провинциализм, суеверие и элементарная безграмотность (хотя, конечно, и это тоже), сколько — прежде всего — химически чистая ненависть, ненависть к самой любви, сомневаться не приходится. Хотя бы уже потому, что тех, кого до глубины

души оскорбляет вид целующихся мужчин, обычно совсем не оскорбляет вид дерущихся мужчин.

Да это и понятно: драка для них — это всего лишь “вариант нормы”: “А чо, мужики выясняют отношения. Нормально. Мужики же! Пацаны, бля! Не бабы же!” Это все из того же старого, но надежного репертуара: “боится — значит уважает”, “извиняется — значит слабак”, “доверяет — значит лох”, “бьет — значит любить”.

А вот проявления любви — особенно если мотивы этой любви им непонятны и поэтому враждебны — это, разумеется, патология.

В наши дни ненавистью буквально пропитан воздух общественной жизни. Это особенно легко замечается, когда возвращаешься в столицу нашей родины после даже короткого отсутствия.

С месяц примерно назад я гулял по чудесному городу Кракову. Он и вообще-то прекрасен, этот город, а тут еще и сирень.

На одной из самых оживленных улиц я увидел парочку увлеченно целующихся девушек, стоявших прямо посреди тротуара. И поймал себя на том, что стал беспокойно озираться в ожидании какого-нибудь условного Милонова, который сейчас при-

мчится на пожарной машине с оглушительной сиреной и наведет здесь порядок.

Нет, слава богу, это был совсем другой город. А вокруг гуляли совсем другие люди. Они шли мимо, осторожно обходя влюбленных, улыбались, щебетали, ели мороженое, живя своей разнообразной жизнью. Лишь один парень — мне показалось, что приезжий, — проходя мимо никого не замечавшей парочки, одобрительно подмигнул и поднял большой палец: молодцы, типа, совет, мол, да любовь. Они, впрочем, не заметили и его.

Служба по несовместительству

Реагируя на различные извивы и загогулины нашей новейшей истории, я иногда в сердцах думаю или говорю об “антропологической катастрофе”.

Возможно, я преувеличиваю масштабы бедствия. Но что какие-то сформированные годами коды распознавания жизненных явлений, укладывающихся в привычные представления о добре и зле, перестают работать — это факт.

Оставим за скобками юридическую составляющую нашей общественной жизни. Что она совсем

перестала работать — это, как говорится, общее место. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно посидеть хотя бы на одном заседании суда по “Болотному” или по любому иному делу из этого стремительно удлиняющегося ряда.

К тому, что там и судьи не судьи, и прокуроры не прокуроры, и свидетели не свидетели, и доказательства не доказательства, привыкнуть трудно, но можно это хотя бы объяснить некоторыми особенностями отечественной социальной истории. Беззаконие как важнейший механизм государственно-общественного регулирования — давно уже никакая не новость в нашей стране.

Но фактор антропологический не дает покоя.

Я вот что имею в виду.

Сколько себя помню, всегда — то есть до поры до времени — существовала некоторая общественная конвенция по поводу того, кто СКОРЕЕ ВСЕГО хулиган, а кто СКОРЕЕ ВСЕГО нет. Это легко определялось по внешнему облику, по манере речи, речевым интонациям, особенностям словоупотребления, по мимике и пластике. Разумеется, время от времени злостным преступником вдруг оказывался милейший юноша с интеллигентной речью, а раз-

бойничьего облика дядька оказывался, например, выдающимся и всеми уважаемым хирургом (я в детстве знал такого). Но эти случаи всегда воспринимались как исключительные, каковыми на самом деле и являлись.

Даже и милиции было более или менее понятно, кто потенциальный правонарушитель, а кто нет. Даже и сельский участковый понимал, кто СКОРЕЕ ВСЕГО разбил окно в колхозном клубе — пьющий комбайнер Федя или недавно приехавший из города руководитель детского хора.

Нет, нельзя сказать, что в годы моего детства очки, шляпы и портфели вызывали в среднестатистическом обывателе безотчетное почтение. Вовсе нет. Даже подчас наоборот, вызывали отчетливое подозрение. Но не в хулиганстве все же. Вредитель или шпион — это пожалуйста, это сколько угодно. А хулиган? Нет, что вы.

Но вот нет нынче вредителей и шпионов. То есть, конечно, водятся и сегодня “шпионы” и даже целые шпионские камни, но их совсем мало, а для спокойствия и устойчивости властной вертикали их должны быть тысячи и миллионы. Вот они и были, эти миллионы, и в тридцатые, и в сороковые, и в пя-

тидесятые годы. Потому что когда страна быть прикажет шпионом, у нас шпионом становится любой.

А сейчас шпионов единицы. Сейчас новый, как говорится, тренд. Сейчас все хулиганы. И в хулиганы все чаще попадает то умудрившийся избить двух-трех полицейских молодой человек из интеллигентной семьи, наделенный субтильным телосложением, плохим зрением и знанием нескольких иностранных языков, то хрупкая барышня, выпускница философского факультета, с провокационными целями пытавшаяся вступить в преступный сговор с Богородицей, то еще кто-нибудь в подобном роде. На этом фоне воображаемый сюжет с какой-нибудь, допустим, пожилой учительницей, обвиненной в том, что она до полусмерти изметелила классным журналом роту ОМОНа, нанеся ей, роте, не только физические, но и глубочайшие нравственные страдания, не кажется слишком гротескным. Да и сам гротеск как художественный прием с почтенным стажем полностью утратил в наши дни всякую выразительную силу. Какой еще гротеск? Посмотрите вокруг. Почитайте газету. Загляните в телевизор. Гротеск... Скажете тоже.

Я даже не стану задаваться вопросом, почему в наше время на роль хулигана не могут подыскать

кого-нибудь похожего на хулигана в классическом, так сказать, смысле этого слова. Почему у них хулиганами все время оказываются люди, похожие на кого угодно, но только не на хулиганов.

Потому что я, кажется, и сам знаю ответ. Раньше это называлось “классовым чутьем”. Теперь я бы назвал это антропологической несовместимостью.

Ну просто возьмите и сходите разок-другой на эти судебные заседания. Ну просто посмотрите на лица обвиняемых и сравните их с лицами судей, прокуроров и “потерпевших”, потерпевших прежде всего от матери-природы и от недостатка любви в детском возрасте.

Не столько на сознательном, сколько на бессознательном уровне вся эта дорвавшаяся до судов, следственных комитетов, депутатских мандатов и президентских кресел нежить физиологически не может совместить свое призрачное, убогое существование со всем живым, подвижным, веселым, благородным, красивым. И старается всеми доступными ей способами пригнуть, пригасить, притопить, замести под диван, прикрыть дерюжкой все то, что столь красноречиво напоминает ей о ее собственном ничтожестве.

Не потому ли большинство этих новейших “хулиганов” и “хулиганок” столь достойно и мужественно ведут себя и на позорных судилищах, и в местах заключения, что и они отлично знают цену и себе, и им? Они просто не могут разговаривать с нежитью на ее языке, который у нежити называется “сотрудничеством со следствием”. Это та самая антропологическая несовместимость.

Не потому ли судейские-прокурорские, вроде бы не выглядящие как голливудские злодеи-садисты, проявляют столь иррациональные, ничем не объяснимые жестокость и бездушие? Это та самая антропологическая несовместимость.

Судьи даже навязанную им явно устаревшими условностями имитацию процессуального этикета исполняют с почти нескрываемым усталым раздражением. Ну, что там еще? Защиту, говорите, надо выслушать? Ну давай, говори, защита. Только недолго и негромко, а то и так башка трещит. И не забудьте, что звонок не для вас, а для учителя. То есть для судьи, я хотела сказать. Что? Пострадавший врет на каждом шагу? Сама вижу. Ну и что? А при чем здесь вообще пострадавший, если вон там какие в клетке страшные чикатилы сидят. Будут сидеть, я сказала!

Почему? Потому! Вопрос снят как не имеющий отношения к делу.

Нет, здесь не только “социальный заказ”. Здесь правит не только, как в греческой трагедии, рок, поселившийся в наши дни в нашем великом городе за красными кирпичными стенами.

“Здесь, милостивый государь, антропология-с”, как мог бы сказать по этому или сходному поводу какой-нибудь персонаж Достоевского.

Хроника двора

Почти каждый нуждается в дружбе. Особенно если он подросток, проводящий много времени во дворе.

Допустим, он, подросток, не прочь завести дружбу с компанией приличных ребят, которые не только читают и обсуждают между собой разные интересные книжки и ходят в шахматный кружок, но и вполне умеют отстаивать свое достоинство и право быть такими, какими им хочется быть, в мелких и крупных стычках со шпаной. Они веселы и раскованны. Ему хочется к ним, и это понятно.

Но они мягко, но твердо дают ему понять, что, если он хочет с ними дружить, пусть прочитает хотя бы несколько книжек, чтобы и им было с ним хоть чуть-чуть интересно. Пусть не пытается развлечь компанию детскими анекдотами про “сумасшедший дом” и пусть перестанет глупо ржать при одном только появлении несчастного умственно отсталого и всегда улыбающегося тридцатилетнего младенца Жени в дурацкой своей панамке и с вечным леденцом за щекой — это не смешно, смешно совсем другое. Они не прочь принять его в свою компанию, но пусть он все-таки постарается преодолеть привычку врать по любому поводу и даже вовсе без повода. И самое главное, пусть он раз и навсегда забудет о своих притязаниях стать в этой компании самым главным — нет у них тут главных. А так — пусть старается, они не против.

Но стараться подростку Валере Севидову (надо же — все-таки вспомнил!) ужас как неохота. Ему проще на правах старшего и поэтому самого длинного и самого сильного возглавить компашку вороватых, шкодливых и подловатых малолеток-двоечников, любящих подглядывать с помощью отцовского трофейного бинокля в окошко женской бани, под-

бирать окурки под фонарем, натягивать поперек вечернего двора невидимую в темноте веревку, передразнивать заик, обжухивать подслеповатого мороженщика, подсовывая ему трехкопеечные монетки вместо двугривенных, и дразнить привязанного у магазина пожилого и нервного кобеля Буяна.

И этот Валера, конечно же, не может простить тех, кто не взял его в свою компанию. И он, разумеется, как может им пакостит. И по-мелкому, и по-крупному. Нет, не сам лично, а руками той самой поганой мелкотни, у которой он считается главным.

И он знает, этот Валера, что каждый из них в любой момент может его продать и предать, но что делать — выбор сделан, это его, так сказать, социальная база, это его, если угодно, целевая аудитория. А другой нет. И быть уже не может. Детство пройдет, а это останется. И это, скорее всего, навсегда.

Вот вроде бы и все.

Но я знаю: читатель ждет уж “рифмы”. Ему, возможно, хочется думать, что автор вовсе не закончил свою историю, потому что история, видите ли, продолжается увлечением героя-подростка — хотя и совсем другого, выросшего в совсем другом дворе и носящего совсем другое имя, — шпионскими

фильмами и идиотскими книжками из “Библиотеки военных приключений”, потому что приличные книжки читать он так и не научился. А потом не может не возникнуть заветной мечты о холодной голове, горячем сердце и наспех вымытых после ночного допроса руках.

Еще и о том хочется, возможно, услышать читателю, что мечты иногда не только сбываются, но и заносят мечтателя туда, в те сновидческие сферы, которых он и вообразить-то не смел никогда. И о том, что, даже став волею немыслимых обстоятельств главным начальником большой и неуклюжей территории, территории несравненно более обширной, но куда менее вожделенной, чем двор его детства, герой наш навсегда остается тем самым подростком, которого так и не взяли и уже никогда не возьмут в приличную компанию.

А может быть, читатель ждет и еще более масштабных обобщений и думает, что вся эта более чем обыденная и совсем не оригинальная история — это история про то, что существуют на свете не только отдельные люди, но и целые государства, так и не сумевшие найти себя и свое место в истории, найдя его лишь в географии, а потому они в своем

поведении постоянно уподобляются тому самому подростку, который... ну, и так далее — см. выше.

Нет, ничего такого автор не имел в виду. Да и зачем? Во-первых, это ясно и без того. А во-вторых, каждая частная история, хотя и довольно типичная, но зато неповторимая в своих уникальных, а потому незабываемых деталях или персональных интонациях рассказчика, всегда интереснее и в итоге поучительнее, чем многозначительные и, увы, очевидные выводы из нее.

Песня о гагаре

В середине 50-х годов один начинающий поэт обнаружил где-то ранний сборник Николая Заболоцкого. Это были гениальные “Столбцы и поэмы”, в те времена практически неизвестные. Прочитав эти стихи, молодой поэт впал — что и естественно — в экстатический восторг, потому что ничего подобного ему никогда читать не приходилось.

И он решил во что бы то ни стало познакомиться с автором. Дело оказалось непростое, потому что автор в те годы был не очень склонен к новым зна-

комствам. Но через каких-то знакомых знакомых знакомых встреча все же была устроена.

Об этой долгожданной встрече в дневнике молодого поэта осталась лишь короткая запись. Я, конечно, не помню ее дословно. Но была она приблизительно такая: “Познакомился с Н. А. З. Ожидал большего. Он говорил довольно банальные вещи. Например, что его любимый поэт — Пушкин”.

Человеку художественной профессии или просто художественного, артистического склада органически свойственно стремление быть нетривиальным. Это естественно. А как же иначе!

Хорошо и правильно, когда это стремление реализуется в сфере собственно художественной, и тогда — если хватает сил, таланта, терпения, энергии и, наконец, везения — художнику удастся создать оригинальную, ни на что не похожую поэтику, существенно расширить пространство жанра или, пуще того, создать новый, небывалый жанр, решительно внедриться в зоны, не освоенные или не замеченные предшественниками.

Но получается гораздо печальнее и рискованнее, когда это стремление реализуется не в художе-

ственном творчестве, а в повседневном социальном поведении.

Иногда почти мистический ужас перед “тривиальностью” играет с человеком злую шутку, и он, увертываясь от банальностей и очевидностей, практически вынуждает себя говорить или делать несутветно глупые, а иногда и откровенно подлые вещи, оправдывая все это тем неоспоримым, как ему кажется, обстоятельством, что он, например, “гений” или на худой конец “талант” и на этом основании всегда прав.

Бывают случаи, когда необходимость высказать нечто заведомо очевидное, нечто вроде того, что Земля круглая, а вода жидкая, что воровать и врать дурно, что не следует обижать слабого или не пытаться защитить его от сильного, требует от художественного человека не только гражданской, но и интеллектуальной и артистической отваги.

Бывают случаи, когда самая, казалось бы, обыденная социальная вменяемость, третируемая художественно одаренными натурами как обывательский взгляд на жизнь, как мировоззрение вечно стонущих гагар, которым недоступно наслаждение

чем-то там таким, является желанным плодом мучительных умственных усилий.

На вопрос, почему это вдруг именно сейчас автор решил коснуться этой (тривиальной, заметим) темы, я не отвечу ничего, кроме того, что нет, не вдруг.

А на вопрос, не кажется ли автору, что для пущей убедительности было бы неплохо привести пару-тройку конкретных примеров, опять же ничего не отвечу, кроме того, что слишком уж много их, этих примеров, — ищите сами.

Скажите спасибо

Не так давно я опубликовал в Фейсбуке примерно такой пост:

Все самое сакральное, что было во времена СССР, все символы, эмблемы и иконы Построения Коммунизма в одной отдельно взятой за одно место стране практически в одночасье облетели, как с белых яблонь дым.

А что у нас сегодня? Где она, та самая одобренная Высшими Инстанциями Национальная идея? На которую из святынь достаточно посягнуть в наши

дни, чтобы стать столь же лютым врагом Государства, каким был когда-то тот, кто мог в пьяном кураже запустить пустой бутылкой в сторону Мавзолея? Правильно: эта национальная идея в наши дни не висит на стенах домов, не пылится в стеклянном саркофаге, не звучит с высоких съездовских трибун, не наполняет сердца звуками сводного ансамбля песни и пляски всех военных округов необъятной Родины. Сегодня эта идея хлещет из-под земли и растекается по жирным трубам. Она черная и вязкая, эта национальная идея. Она называется коротким словом “нефть”.

Поэтому гринписники сегодня оказались страшными врагами Великого Нефтегазового Государства. Они подняли руку на самое святое.

Вы помните старый мультфильм “Золотая антилопа”? Вы помните, чем он заканчивается? Вы помните, как жадный раджа и вся его челядь тонут в грудах золота, со звоном высекаемого волшебными копытами антилопы? Ну так вот...

Через день-два я наткнулся в Сети на комментарий неизвестного мне человека, упрекнувшего меня в черной неблагодарности. В том, что и я, мол, как

и все тут, кормлюсь из той же “нефтяной трубы”, но, типа, кусаю грудь, которая... и так далее.

Удивительное, неизбывное, непоколебимое холопское сознание. Затверженная на века убежденность в том, что не сами люди кормят себя или своих детей. Что они навсегда — с рождения и до смерти — обязаны быть благодарны государству, которое...

Которое — что? Которое, вообще-то говоря, во всем цивилизованном мире воспринимается как обслуживающий персонал, как всего лишь совокупность институтов, чьей прямой обязанностью является обеспечение и защита прав и свобод законопослушных граждан. Хорошо с этим справляется государство — молодцы, выберем на следующий срок, если, конечно, этот следующий срок не противоречит законам страны. Плохо работает, неэффективно — давай, до свидания. И вообще, нам интересно знать, на что и как расходуются наши налоги.

Не знаю, кто как, но я никогда не ощущал, что я кормился и кормлюсь из рук государства, тем более — из пресловутой “трубы”. Из материнской груди — питался, было дело. Из бутылочки с со-

ской — тоже было. В школьном детстве меня кормили родители. Когда я повзрослел, я стал кормить себя сам. И делаю это до сих пор.

Но наши так называемые государственники свято убеждены, что все, кто живет в этой стране, должны быть по гроб жизни обязаны и благодарны. Дети — за счастливое детство. Взрослые — за то, что они все еще живы. Евреи — за то, что товарищ Сталин спас их от окончательного решения соответствующего вопроса, хотя не вполне спас от неокончательного, которого тоже, прямо скажем, не показалось мало. Крымские татары, чеченцы, ингуши, корейцы, российские немцы и многие другие должны быть благодарны за то, что их всего лишь переселили в Сибирь и Казахстан, хотя могли бы и, не говоря худого слова, попросту перебить — делов-то. Давившиеся в очередях за синюшными соиссками должны были быть благодарными за то, что было все-таки за чем им давиться.

Да и я сам, видимо, за сам факт своего появления на свет должен быть по гроб жизни благодарен родному государству в лице товарища Сталина, еще в 1936 году предусмотрительно запретившего аборт.

И повсюду во все времена чаще других звучали фразы, начинавшиеся со слов: “Скажите еще спасибо, что...”

Скажите еще спасибо, что не убили, не посадили в тюрьму, не выселили из дому, не отняли последнюю. Спасибо!

Известно, что ворчат и злопыхательствуют лишь неблагодарные. И когда неблагодарных время от времени за их неблагодарность “ставят на место”, остальные должны благодарить родные органы за бдительность и своевременную прополку монохромного и преисполненного лютой благодарности народонаселения.

Получалось всегда так, что здесь никто сам себя не кормил и не содержал. А всякий труд был лишь проявлением сыновней благодарности за неустанную заботу партии, правительства и лично всякого, кто на текущий момент был самый главный. Все-народная благодарность выражалась в тоннах угля и чугуна, центнерах пшеницы, литрах молока с коровы, километрах текстиля и, наконец, в создании ярких художественных образов, которые прославляли все то же государство или в крайнем случае “человека труда”, который, в свою очередь, был благо-

дарен все тому же государству, которое... В общем, дом, который построил Джек.

Чувство благодарности вообще-то присуще нормальному цивилизованному человеку, который всегда бывает благодарен врачу, спасшему ему жизнь, учителю, научившему его уму-разуму, случайному прохожему, показавшему ему дорогу. Он может и должен быть благодарен хорошему музыканту, автору понравившейся книги, виртуозному повару. Он может сказать спасибо судьбе и жизненным обстоятельствам, благодаря которым он иногда чувствует себя счастливым или хотя бы везучим. Если он религиозен, то он точно знает, кого и за что ему благодарить. Но вот государство-то тут при чем? Труба-то?

Холопу незнакомо чувство благодарности. Он никогда не был и не будет никому и ни за что благодарен. Именно — никому. Потому что государство безлично, потому что оно “никто”, хотя и часто персонифицировано. Но и государству он вовсе не благодарен. Благодарности он требует от других, потому что он и сам себя воспринимает как клетку государственного организма, так же как холоп прежних времен полагал себя составной частью господского мира.

И никогда холоп не ощущал и не будет ощущать себя хозяином своей судьбы. Ни тогда, когда он голоден и оборван, ни тогда, когда он — как теперь — сыт, одет, обучен кое-какой грамоте, лоснится от самодовольства, любит употреблять слово “невежество”, втихаря прикладывается к господскому шампанскому и очень рвется поскорее в Париж. Ну, вроде как мерзопакостный лакей Яша из “Вишневого сада”. Помните такого?

Оценка “хор”

Мне хорошо известны люди (хотя, скажу попутно, их становится все меньше и меньше), люди вполне приличные, образованные и, можно сказать, социально и культурно близкие, которые публично артикулируют свою лояльность режиму и свое граничащее с презрением неприятие либерального, протестного дискурса, преобладающего в той среде, из которой они сами вышли и в которой с относительным душевным комфортом существуют и теперь.

С ними, если, конечно, они в своем азарте не переходят границ элементарных приличий, здороваются, спрашивают у них, как дела, иногда совместно выпивают, избегая, впрочем, в разговорах взаимно огорчительных тем.

Эти люди, в том числе и тогда, когда их “особая позиция” становится профессией и конвертируется не только в нравственно-интеллектуальные, но и в более вещественные признаки собственной состоятельности, любят объяснять некоторый, скажем так, экзотизм этой своей позиции не столько в позитивных, сколько в негативных категориях. Например, своим нежеланием “впадать в стадное чувство”, нежеланием “ходить строем”, нежеланием “ПЕТЬ ХОРОМ”.

Так вот, друзья мои. Как человек, все свои школьные годы пропевший хором, причем в самом буквальном смысле, скажу вот что.

Стройный и, главное, на добровольных началах сформированный хор никогда не превращается и не превратится в разрушительную толпу.

Хор — это счастье и освобождение, причем не только коллективное, но и, как ни странно, персональное. Хор — это, собственно, идеальная, почти

недостижимая в обыденной жизни модель созидательного и очистительного “общего дела”.

У Честертона есть эссе, которое так и называется — “Хор”. И там есть такое чудесное место:

У хора — даже комического — та же цель, что у хора греческого. Он связывает эту, вот эту историю с миром, с философской сутью вещей. Так, в старых балладах, особенно в любовных, всегда есть рефрен о том, что трава зеленеет, или птички поют, или рощи цветут весной. Это — открытые окна в доме плача, через которые, хоть на секунду, нам открываются более мирные сцены, более широкие, древние, вечные картины.

А стадное чувство тут точно ни при чем. Хождение строем — тоже. Стадо с помощью кнута, пряника и прочей дрессуры можно научить “шагать строем”, а петь хором оно не станет никогда, потому что всегда будет только мычать или блеять, и непременно вразнобой. Спутать это мычание с хором может только тот, кто сам никогда не пел в хоре, или тот, кто начисто лишен музыкального слуха. И не только музыкального. Нравственного тоже.

Понятно, разумеется, что есть хор и хор. Бывает хор, в который когда-то почти насильственно заставляли записываться сотрудников различных учреждений или учебных заведений. Такой примерно хор, который описан в “Мастере и Маргарите”. Помните — “Славное море, священный Байкал”?

Отождествление таких понятий, как “ходить строем” и “петь хором”, восходит, конечно же, к воспоминаниям об армейской службе (“Не плачь, девчонка, пройдут дожди”), о мучительных, тягостных и репрессивных уроках пения в младших классах школы (“По улице шагает веселое звено”), к патетическому и фальшивому до изжоги финалу праздничного концерта (“Партия наши народы сплотила”). “Схватила”, — передразнивали мы, не понимая еще по детскому своему возрасту всей онтологической глубины этой легкомысленной на первый взгляд переделки.

Да, такое хоровое пение тоже имело место, причем повсеместно. Но оно стилистически куда ближе к тому хору, к каковому даже вопреки собственным намерениям вынуждены присоединяться те, кто “не желает петь хором”. Тут уж, друзья, вашего желания или нежелания особенно и спрашивать не будут.

Пойте хором, господа. И главное, добровольно. И главное, старайтесь не фальшивить и слушать соседа справа и соседа слева. Пойте везде, где это кажется уместным. За дружеским столом, конечно, поется лучше и теплее всего. Пойте, не стесняясь собственного воодушевления, не сдерживая досады, когда пение получается нестройным и фальшивым, или слез радости в наиболее удавшихся местах. И вот снова Честертон:

... мне хотелось бы, чтобы хоть изредка вступал хор. Мне бы хотелось, чтобы после мучительной, как агония, нездоровой до жути главы врывался голос человеческий и орал читателю, да и писателю, что это еще не все.

Это еще не все.

Выросла скрепка

Ну вот, опять. Не сидится нашим пыльным законодателям. И чего не сидится, спрашивается? Сидели бы, нажимали на манер павловских дворняжек свои депутатские кнопки и горя не знали.

Но ведь нет. И без того набравшая смертельно опасные для общественного здоровья обороты вакханалия запретительно-карательных инициатив, принимающих иногда форму федерального закона, затягивает наших депутатов все глубже и глубже. И чем глубже, тем труднее им потом будет выбрать-

ся наружу. А чем труднее им будет выбраться наружу, тем яростнее они будут рыть землю, закапываясь еще глубже. Ну вроде как крысы, запертые в чулане.

Теперь в бесконечной череде чувств, беззащитных, как птичка с перебитым крылышком, возникло чувство патриотизма — видимо, как эрзац того еще не вполне забытого моим поколением брежневского общенародного чувства глубокого удовлетворения, которое, впрочем, в соответствии с неумолимыми законами природы сменилось, хотя и совсем ненадолго, не менее всенародным чувством глубочайшей скорби.

Очередное беспокойное депутатское сердце подготовило законопроект об уголовной ответственности за оскорбление патриотических чувств, каковое оскорбление предлагается приравнять к экстремизму — не больше и не меньше.

“Гордость за историю остается главной «духовной скрепой» нации”, — говорит депутат.

Снова “скрепа”, снова “гордость”. И главное, наивная убежденность в том, что в основе патриотического чувства лежит непременно гордость, а не, например, стыд.

Если эта инициатива, невысказанная с точки зрения нормального человека, наделенного хотя бы смутным представлением о праве, действительно примет статус закона, возникнут некоторые неразрешимые вопросы.

Вот, например, совсем недавно был принят не менее экзотический закон об оскорблении чувств верующих. И, если вдуматься, два этих закона об “оскорблении” войдут в непримиримое сущностное противоречие друг с другом. Получится, что один из них окажется оскорбительным для другого.

“Патриотический” закон, предписывающий “гордость” как главную скрепу общественного поведения, при несоблюдении какой-либо скрепы гражданин автоматически становится экстремистом, самим фактом своего существования непременно должен оскорбить чувства верующих, твердо знающих о том, что гордость является одним из смертных грехов.

Таким образом проект закона о “гордости” направлен против уже существующего закона об оскорблении чувств верующих.

И не надо говорить, что большинство тех, кто называет себя верующими, ни о каких заповедях ничего даже и не слышали. Но ведь есть же и мень-

шинство. Ведь и настоящие верующие тоже существуют!

Как им-то быть? Разорваться, что ли? Как верующему человеку одновременно гордиться и избегать гордыни? Как?

Когда “они” тупо, неуклюже, но упрямо и напористо пытаются устроить так, чтобы законы цивилизованного мира, да и просто естественные человеческие законы перестали вообще действовать внутри длинных государственных границ моей страны, начинает казаться, что и законы природы они бы не прочь упразднить. Если так пойдет дальше и их никто не остановит, то я легко представлю себе, что здесь, например, вполне официально перестанет действовать закон сохранения энергии или, допустим, закон всемирного тяготения. Интересно, кстати, а про вражеский закон, провокационно утверждающий, что сила действия равна силе противодействия, они ничего не слышали? Похоже, что нет. А жаль.

Звездное небо над головой легко устраняется усилиями отечественной промышленности. С нравственным законом внутри нас им будет разобрататься, конечно, труднее, но разве они побоятся

трудностей? Они над этим неустанно, хотя и крайне неуклюже работают. И постараются, конечно, истребить и этот самый закон — тот, что внутри, — заменив его очередной спущенной сверху скрепой. И сделают это рано или поздно. Если, конечно, мы им это позволим.

КОМУ ВОЙНА

Украинский акцент

В последнее время я, как и многие, думаю об Украине. Понятно почему. Но еще и потому я думаю об Украине и о ее судьбе, что мои семейные корни уходят туда, в Полтавскую губернию, где родилась и выросла моя мать, чье детство благодаря ее многочисленным рассказам кажется мне настолько ярким и рельефным, как будто прожил его я сам.

Она много, очень много рассказывала мне о нем. Она родилась в 1913 году. Годы ее нежного и воспри-

имчивого, но уже сознательного детства пришлось на Гражданскую войну.

В Полтаве на соседней улице от них, рассказывала она, жило семейство писателя Короленко, и она бывала в этом доме. Что она запомнила? Серсо. Белые матроски. Фанты. Елку... Семья Короленко устраивала рождественские елки, куда приглашались дети со всей округи. Еврейские дети, конечно, тоже. Подарки, музыка, шарады...

В годы Гражданской войны власть в городе менялась в среднем раз в пару месяцев, и при каждой смене власти случался неизбежный погром. Эти погромы моя мать, маленькая девочка, воспринимала тогда как нечто скорее веселое и приключенческое. Еврейских детей со всего квартала прятала в подвале своего дома вдовая попадья. Маме нравилась ароматная духота подвала, запах солений, романтический полумрак. И она всю жизнь сокрушалась, что напрочь забыла имя и фамилию этой великой женщины.

Впрочем, лишь при одной из многочисленных, сменяющих друг друга властей погромов не было. Их не было при немцах. Немцы ценили порядок и старались его соблюдать и поддерживать.

Это были немцы восемнадцатого года. Немцы сорок первого года были другими, и этот факт не учли многие, кто решил летом сорок первого остаться в Полтаве, Харькове, Киеве. “Мы же помним немцев, — говорили они. — Это же культурный европейский народ. Да и куда нам ехать — здесь нажитое за всю жизнь добро, пусть молодые едут. А мы уж тут как-нибудь. Да и кому мы, такие старые, нужны. Это же просто смешно”. Ага, смешно...

Я думаю иногда, какие из немцев настоящие — те, кто защищал людей в годы Гражданской войны, или те, кто массово истреблял их в годы другой войны.

А еще я думаю, какие из украинцев настоящие — те, соседи одной из оставшихся в городе маминых киевских теток, кто немедленно выдал ее немцам со всеми известными последствиями, или те, кто спрятал другую мамину тетку в чулане, а чуть позже переправил ее в деревню к своим родственникам, и в этой деревне ее не выдал ни один человек, и она выжила, и потом жила очень долго, и каждые несколько лет, сколько хватало у нее сил, ездила в гости в эту деревню, давшую ей вторую жизнь.

Кто настоящие? И те и другие. Но я уверен, что чувство благодарности в целом сильнее и плодо-

творнее, чем чувство ненависти и жажда возмездия. Я знаю, что многие меня осудят за это мое прекраснотушие. Но что ж поделаешь.

Украина для меня совсем не чужое место. Заманчивое слово “Украина” сопровождало меня все мое московское детство. Я любил эту Украину, которую никогда не видел своими глазами. И эту страну я привык воспринимать и принимать близко к сердцу даже не через Гоголя или Шевченко, а скорее через семейные предания, полузабытые истории и частные проявления, которые оказываются ничуть не слабее великой литературы.

Стоит ли, например, забывать, что моя бабушка, чьим родным языком был идиш, использовала в своих речевых конструкциях, где смешивались слова из разных языков, украинский звательный падеж. “Готэню, Готэню! — всплескивая руками, сокрушалась она, когда я совсем отбивался от рук. — Ну що же ж за дитына така!” И уж совсем не знаю, чем объяснить то странное обстоятельство, что моя мать, говорившая, сколько я ее помню, на вполне чистом “московском” диалекте, незадолго до смерти вдруг стала говорить с украинским акцентом. Видимо, какая-то причина все же была. Без причины ничего не бывает.

Доски судьбы

Государствам, склонным к тоталитарным формам правления, необходимо особое агрегатное состояние общества. Это состояние описывается одним словом — “беспмятство”. Вот и существовали всегда люди, которые если и любили родное государство, то уж любили его “без памяти”.

Не будет слишком большим преувеличением сказать, что зияющие и часто окровавленные дыры в истонченной ткани общественной памяти есть главная проблема нации.

Никто не помнит ничего.

Родились, выросли и почти исчезли несколько поколений, ничего не знавших и до сих не знающих о своих даже и не очень далеких предках. До кого-то доносились смутные, передаваемые невнятным шепотом и при потушенном свете обрывки семейных преданий о прабабушках-цыганках, о прадедах — польских аристократах или купцах первой гильдии, о дедах — немецких колонистах, о раскулаченных и сосланных, о расстрелянных и стертых в лагерную пыль.

Множество таких рассказов начинаются со слов “незадолго до смерти бабушка вдруг разговорилась”. Бабушки вдруг разговаривались и рассказывали нечто не вполне определенное о своих отцах-матерях, дядях и тетях, двоюродных и троюродных братьях и сестрах. О своих предках — священниках, раввинах, баптистах, столбовых дворянах, толстовцах, эсерах, двоюродных дедушках из Аргентины или Новой Зеландии. О дедах-палачах и вертухаях, кстати, тоже не слишком-то распространялись в семьях. Что и понятно.

В те времена уничтожались не только массы живых людей. Заледеневшие в тотальном страхе, стара-

ясь спастись и спасти своих детей от лихой участи, люди сами истребляли письма, фотографии, старые инженерские дипломы, гимназические аттестаты, почтовые открытки из Варшавы или Парижа. Они волевым усилием забывали имена, города, деревни, факты, слова, черты людей.

И как могло быть иначе в государстве, где биография народа директивно заменяется набором “правильных” мифов, биография рода исчезает вообще, даже если она в предсмертном бреде и цепляется за полустертые и не слишком достоверные семейные предания, а реальная живая биография реального живого человека сводится к пунктам анкеты отдела кадров.

Тем важнее и насущнее любое движение в сторону хоть какого-то восстановления памяти.

И чем больше проходит времени, тем труднее заштопывать эти дыры. Но все равно надо. За нас это никто не сделает никогда.

Уже который год, каждую осень “Мемориал” проводит очень важную акцию. В Москве на Лубянской площади (а где же еще) у Соловецкого камня совершенно разные люди — москвичи и люди, случайно оказавшиеся в эти дни в Москве, — по очер-

ди читают бесконечный “расстрельный список”. По два-три имени. К микрофону стоит длинная молчаливая очередь.

Было это и этой осенью. Я тоже прочитал там два “своих” имени из этого нескончаемого списка. Один из них оказался военным, другой — колхозником. Оба были среднего возраста. И я, разумеется, не знал и не узнал о них ничего, кроме их имен и фамилий, профессий и даты расстрела.

Но само по себе произнесение вслух этих имен как бы превратило этих людей в моих родственников.

Я, повторяю, не знаю об этих людях ничего. Возможно, это были люди глупые, возможно — умные. Возможно, кто-то из них был негодяем и сам писал доносы на других. Возможно, оба были прекрасными и благородными людьми, а возможно, и нет. Кто-то, может быть, был жадным, а кто-то щедрым. Кто-то учился хорошо, а кто-то остался полуграмотным неучем. Кто-то был таким, а кто-то другим. Или оба были такими и сякими. Кто их знает.

Но общая их судьба, общий их крест выравнивает и выпрямляет каждого из них и всех вме-

сте перед бесстрастным лицом истории. И это уже навсегда. Потому что они прежде всего мученики. А потом уже все остальное.

Мне очень нравится, что устраивает “Мемориал” каждое 29 октября каждого года. Это очень правильно и стилистически безупречно. И это все описывается коротким и не вполне русским словом “катарсис”.

И пока мы будем способны на эти чувства, с нами ничего окончательно дурного произойти не сможет. Так вот мне кажется.

А недавно возникла и еще одна, не менее, по-моему, значительная инициатива подобного рода. Инициатива эта принадлежит журналисту Сергею Пархоменко и была, что вполне естественно, поддержана “Мемориалом”. Идеологию этой замечательной затеи своими словами пересказывать не стану. Она сформулирована вполне внятно. Вот она:

Проект “Последний адрес” возник по предложению группы московских и санкт-петербургских историков, правозащитников, гражданских активистов, журналистов, литераторов, архитекторов и дизайнеров. Цель проекта — развитие обще-

ственной инициативы для увековечения памяти жителей наших городов, ставших жертвами политических репрессий и государственного произвола в годы советской власти. Результатом такой инициативы должна стать установка многих тысяч персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв этих репрессий.

Основополагающий принцип этого проекта — «Одно имя, одна жизнь, один знак». Прочие подробности, в том числе и технические, а также мнения разных людей, втянутых в орбиту этого проекта, можно посмотреть на сайте «Последнего адреса».

Не знаю, чем обернется эта попытка. Не знаю, сможет ли она осуществиться в тех социальных условиях, когда историческая память все больше и больше присваивается чекистским государством, которому нужна, конечно же, чекистская версия отечественной истории. Но то, что этот проект буквально захватил умы и сердца лучших историков и социологов, лучших дизайнеров и архитекторов, да и просто множества прекрасных людей, уже означает, что проект живет, что он уже состоялся.

В нашей стране, где действуют законы не всемирного, а исключительно суверенного тяготения, эта попытка приподнять от пола табуретку в чем-то подобна любому из Геракловых подвигов.

Но самое главное, что она, эта попытка, насущно необходима.

Это хорошо знают в Европе, города которой оснащены памятными плитами с именами безвинных жертв бесчеловечных режимов. Отдельные конкретные имена конкретных людей куда трагичнее и красноречивее, чем колонки чисел с бесконечными нулями. В небытие отправлялись не просто миллионы. Это были миллионы отдельных людей — с именами, профессиями, биографиями и семейными преданиями.

Эти плиты, эти мемориалы и музеи на месте лагерей смерти совокупно служат прививками от возможных рецидивов тех общественных состояний, при которых мертвое управляет живым.

Это должны знать и мы. Без этого — никак.

Война и мир

Однажды я стал — не участником, нет, — скорее свидетелем совсем небольшой и, по счастью, совершенно бескровной Крымской войны.

А почему я вспомнил об этом не слишком-то судьбоносном моменте собственной биографии именно в эти дни — я думаю, что понятно.

Начну с начала.

Уже очень давно, а именно в августе 1968 года, я в компании своего старшего брата и его жены оказался в городе Севастополе. В этом городе, куда я ез-

дил с мамой все мое детство, жил наш дядя, но мы, несмотря на его настойчивые радушные приглашения, решили все же его не обременять и сняли комнату и веранду в пригороде, рядом с “диким” песчаным пляжем.

Мне вообще запомнилась эта наша поездка. Запомнилась парой-тройкой странных эпизодов.

Вот, например, однажды на этом пляже ко мне подошел густо татуированный молодой человек и спросил, не из Москвы ли я. Я подтвердил его догадку. Задав неизбежный ритуальный вопрос, из “самой” ли я Москвы, и получив ответ, что да, из самой, он сказал: “У меня там кореш живет, Жорик. Когда вернешься в Москву, скажи ему, что я обо всем договорился. Он поймет”. Я честно пообещал. Но, легкомысленно не поинтересовавшись, где я там возьму Жорика, я все же зачем-то спросил, от кого передать Жорику это краткое, но, видимо, важное сообщение. “Ты, что ли, меня не знаешь? Я же Костя Бамбука. Меня тут все знают. Кстати, если у тебя здесь будут какие-нибудь проблемы, скажи только “Костя Бамбука”, и проблем не будет”. — “Хорошо, — покладисто ответил я, — так и скажу, если что”. “Если что”, слава богу, не случи-

лось, и всеильное имя так и осталось не произнесенным мною вплоть до сегодняшнего дня.

А был там один эпизод и вовсе зловещий. Однажды прохладным ветреным вечером я прохаживался по безлюдному пляжу, самому себе изображая вдохновенного лирика, пытающегося настроить свой внутренний ритм в унисон с ритмом морского прибоя. Обычная вещь для двадцатилетнего романтического мечтателя.

И вот, вышагивая по влажному песку, я буквально наткнулся на объемный предмет и не сразу понял, что это. А “это” оказалось непомерно раздувшимся телом человека в тельняшке и матросских штанах. Тут же забыв о поиске пиитических восторгов, я стремглав понесся в сторону дома, чтобы рассказать своим об ужасной находке. Когда мы с братом вернулись на это место, никакого утопленника там уже не оказалось. Брат, знавший меня с моего рождения, конечно же, заподозрил меня понятно в чем. Что мне было, конечно, обидно: я же действительно это видел.

Впрочем, все эти живописные детали не имеют прямого отношения к основной теме моего бесхитростного повествования и приведены здесь ис-

ключительно в качестве фона и в интересах историко-географической достоверности.

А к заданной теме имеет отношение лишь один вечер. Тот самый вечер, когда мы, обалдев от растительного существования, а также от капризной погоды, решили съездить в город, чтобы сходить в ресторан. Вот мы и поехали. И зашли в ресторан.

День был будний, и ресторан был пустоват. Собственно, кроме нашего столика там были заняты еще два. Запомнилась почему-то румяная официантка по имени Галя — такая типичная “Наталка-Полтавка”. Смешная, задастая, довольно бестолковая и ужасно неторопливая. Впрочем, мы особо никуда и не торопились. Мы пили какое-то местное вино, наслаждались городской цивилизацией и, так сказать, наблюдали жизнь.

Заняты, как я уже говорил, кроме нашего были еще два столика. За ними сидели две довольно шумные компании. Как мы определили из доносившихся до нашего слуха разговоров, за одним столом сидела компания москвичей, за другим — киевлян.

Еще там были музыканты, развлекавшие публику отечественной попсой. Впрочем, это анахро-

низм — слова “попса” тогда еще не было. Тогда это назвалось “советской эстрадой”. Вот она и была.

Видимо, в интересах соблюдения культурно-политического равновесия и взаимного обогащения двух братских культур они попеременно пели то по-русски, то по-украински.

Среди прочих песен, не блиставших заметным отличием одна от другой, там выделялись две, очень популярные в том сезоне. Одна — которая по-русски — “В нашем доме поселился замечательный сосед”, другая — которая по-украински — “Черемшина”.

И именно они, два этих довольно отвратительных на мой вкус шлягера, стали той тяжелой артиллерией, при посредстве которой и развернулась прямо на наших глазах яростная битва за Севастополь.

Выглядела эта битва так. Из-за “московского” стола выдвигался молодой человек, подходил к музыкантам, совал одному из них трояк (в те годы деньги не такие уж условные) и просил исполнить “Замечательного соседа”. Сосед звучал. После этого из-за “киевского” стола выходил человек с тем же трояком и заказывал “Черемшину”. Исполнялась и она. Ну, дальше понятно.

Чем занимались мы, тоже, наверное, понятно. Мы считали. Интересно еще и то, что обе эти песни, довольно ужасающие, но повторенные многократно, постепенно стали вызывать в нас нечто вроде экстатического восторга. Что и неудивительно — магия всегда строится на бесконечном повторении однородных элементов.

И мы считали. И, кажется, устроили даже нечто вроде тотализатора — кто победит в этом безумном соревновании. Результат оказался ничейным. Обе песни прозвучали ровно по одиннадцать раз, и — что тоже знаменательно, — у обеих армий синхронно закончились боеприпасы.

Но кто же все-таки победил в этой потешной войне, если воюющие стороны остались каждая при своем и обе без денег?

Так кто?

Ну как кто? Во-первых, можно сказать, что в схватке победило вечное искусство — уж такое, каким оно оказалось в тот конкретный момент и в тех конкретных обстоятельствах.

Можно с уверенностью сказать, что победили ресторанные лабухи, сумевшие из нетрезвых амби-

ций двух противостоявших сил извлечь вполне внятную материальную пользу.

Можно сказать, что выиграли мы, ставшие равнодушными, хотя и нейтральными свидетелями этого не только забавного, но и поучительного события. Поучительного хотя бы в том смысле, что оно лишний раз убеждает нас в том, что если кто и побеждает в войнах, то уж точно не те, кто воюет.

Шуты с ними

В наши дни расцвел пышным цветом и раскидисто заветвился особый жанр социально-культурного поведения. И не просто расцвел, а стал, если угодно, мейнстримом политической и общественной жизни. Этот жанр можно обозначить как “публичное беснование”, невольно ставящее в тупик любого, кто привык к хотя бы элементарной логике и имеет хотя бы поверхностные представления об общественных приличиях.

Это тот тип говорения, который в моем детстве назывался “гнать от вольного”: говорение без тормозов и без берегов, без руля и без ветрил, без внятно сформулированной цели. Если, конечно, таковой целью не считать срабатывающее на уровне безусловного рефлекса стремление всегда находиться на поверхности той бесформенной кучи-малы, которую они сами же неумоимо сооружают посредством своей же публичной деятельности и которую они всерьез считают “политической жизнью”. Это совершенно очевидное свое стремление они пышно называют “государственными интересами России”.

Этот тип социального поведения, прямо скажем, не слишком сложен. Он знаком всем, кому приходилось наблюдать за энергичными телодвижениями деревенской мухи, из жадного любопытства угодившей в кастрюлю с киселем.

Внешние признаки этого жанра совсем не новы. Они восходят к старинной традиции кликушества. Жанр этот никогда не исчезал со сцены. Но все-таки до поры до времени занимал на ней скромное, в общем-то маргинальное место.

Жанр не нов. Нова лишь ситуация, при которой он становится в наши дни самым авторитетным, са-

мым “центровым”. Нова лишь ситуация, при которой этот жанр переместился в зону политическую.

В наши дни работники этого жанра — хоть депутаты, хоть пресс-секретари, хоть ведущие федеральных телеканалов — размножились до количеств, смертельно опасных для общественного здоровья страны.

Впрочем, историческая справедливость требует указать на родоначальников, на пионеров, на первооткрывателей.

Самым ярким и последовательным из них, несомненно, являлся и является неуваждающий Жириновский, чьими точно выверенными склочными, коммунально-барачными интонациями в открытую, никого и ничего не стесняясь, с самых высоких трибун заговорило само коллективное бессознательное. То самое, которое с самого детства в непосредственных ощущениях являлось многим из нас в коммунальных кухнях, в переполненных трамваях, в километровой очереди за морожеными коровьими мослами. В этой глубинной, корневой “народности” его неуязвимая сила и историческая живучесть.

Кликуши и юродивые были когда-то важными персонажами церковной жизни. Но беда, когда они

получают власть или хотя бы обслуживают власть идеологически.

Шуты, ампула которых предполагало причудливое и веселое вранье, были всего лишь шутами и радовали людей. Шутовство, хлещущее с телеэкрана или с газетных страниц под видом “политической аналитики”, — это просто кромешное вранье, преступно развращающее простые души людей, имеющих привычку верить печатному или “экранному” слову.

Фрики и прочие чудаки необычайно разнообразят, оживляют и очеловечивают любой общественный ландшафт, в силу своей внутренней инерционности всегда стремящийся к монохромности и монотонности. Они, эти чудаки и фрики, совершенно необходимы в жизни современного города, потому что они придают жизни города, жизни общества дополнительные и неожиданные краски или хотя бы оттенки.

Но фрик, наделенный даже небольшой властью или хотя бы законодательной инициативой, — это вопиющий признак общественной катастрофы.

Мужчины в наряде донских или кубанских казаков очень уместны в фольклорных ансамблях. Но они же дико и опасно смотрятся в ландшафте совре-

менного города в качестве установителей и охранителей общественных нравов — точнее, того, что под такими нравами они сами понимают.

Мне не нравится, когда недовольные друг другом люди иногда обзывают друг друга клоунами. Это несправедливо. Клоун — прекрасная профессия. Особенно когда клоун выступает в цирке, а не с парламентской трибуны.

И дело даже не в том, что во власть лезут клоуны. Дело в том, что они никудышные клоуны.

Точно так же, как когда-то в великие диктаторы и отцы народов часто пробирались бездарные стихотворцы, кухонные философы и незадачливые живописцы, сейчас в политику вошли не просто клоуны, а очень плохие клоуны, которых в цирк бы не взяли ни за что, а вот в депутаты — в самый раз.

Видя их, слыша их, мы рефлекторно смеемся. Но смеемся мы над ними скорее по инерции. Видим коверного, слышим его идиотские речи — вот и смеемся. Но ведь и понимаем при этом, что не очень-то это смешно.

Это не вполне смешно уже хотя бы потому, что прямым следствием их гэгов часто становятся, например, искалеченные человеческие судьбы.

Но смеяться все равно надо. И это не только защитная и во многом спасительная реакция организма на все более навязчивый, все более тотальный бред. Это еще и знак собственного иммунитета, собственной вменяемости, собственной нормальности, нерушимости собственных представлений о добре и зле, о верхе и низе, признак нашей способности к интеллектуальному сопротивлению.

Смеяться надо, потому что мы обязаны ясно понимать: история не закончится ни сегодня, ни завтра. Потому что “им”, кроме разве что житейской мудрости “хватай и беги”, передать тем, кто будет после них, в общем-то нечего. А нам — есть.

Настройка на войну

Мне уже приходилось говорить о том, что тема войны, то есть исторического события первой половины прошлого столетия, по-прежнему столь болезненна в наших широтах потому, что она все никак не может закончиться.

А не может она закончиться потому, что ее уроки, причины и последствия толком не исследованы и не осознаны. И не могут быть они осознаны вне трезвой, жесткой и непредвзятой общественной дискуссии.

Отсюда и вечное хождение по кругу. Отсюда и неадекватная возбудимость по поводу любого, даже самого невинного прикосновения к больному месту.

Самое ужасное в том, что нет до сих пор общественного согласия относительно того, что это была за война. Война кого с кем и чего с чем.

Я вот недавно наткнулся в интернете на удивительную концепцию, в соответствии с которой эта война была, оказывается, войной с Европой. Это, оказывается, была война Русской цивилизации с цивилизацией Европейской. О как!

Как бы кромешно дико и вполне, между прочим, кощунственно такая концепция ни звучала, она ценна хотя бы тем, что кое-что объясняет.

Не об этой ли войне, не об этой ли мифической Великой Победе “Русской цивилизации” над просто цивилизацией напоминают сегодня заливчатские надписи “На Берлин!” на задних окошках “фольксвагенов” и “ауди”.

И не потому ли значения слова “фашизм” в риторике тех, кто воевал и продолжает воевать с базовыми ценностями цивилизованного мира, столь

катастрофически отличаются от значений общепринятых.

И что понимается в данном случае под “русской цивилизацией”, тоже интересно.

Не о той ли цивилизации идет речь, которую в наши дни без видимого успеха, зато с маниакальным упорством пытаются соорудить из обнаруженных в деревенском дедушкином сарае расколотых оглобель, ржавых деталей от трактора “Беларусь”, разбухшей и заплесневевшей от сырости книги “Краткий курс истории ВКП(б)” и от греха подальше запрятанной под рогожку прабабушкиной иконки.

Не очень, прямо скажем, складно сооружается такая цивилизация. Потому что не может и не сможет получиться из этого ровно ничего, даже автомата Калашникова.

Для того чтобы заставить людей, привыкших думать собственной головой и не потерявших еще способность составлять разрозненные факты истории в сколько-нибудь правдоподобную картину, поверить в жизнеспособность такой “цивилизации”, нужен не просто административный ресурс, но административный ресурс очень мощный, поддер-

живаемый с земли, с воздуха и с моря всеми родами войск при полном, причем многолетнем сокрытии от людских глаз и ушей альтернативных источников информации, как это происходит, например, в Северной Корее.

Между тем русская цивилизация действительно существует. И существует она в неистребимой, как это ни удивительно, русской культуре, науке и свободной мысли, каковые являлись и являются частью, причем весьма весомой, европейской и мировой цивилизации.

Война с Европой, говорите? Ну и говорите дальше. А я вот как считал, так и буду считать, что это была война не с Европой, а ВМЕСТЕ с Европой и ВМЕСТЕ с Америкой против фашизма, против бесчеловечности и мракобесия, грозивших гибелью мировой цивилизации. И русской в том числе. И только лишь такая трактовка смысла и содержания этой войны может хотя бы отчасти оправдывать те ужасные, катастрофичные для страны и народа человеческие жертвы и перенесенные страдания.

И получается так, что вся эта пока неразрешимая и болезненно раскалывающая общество проблема именно в том, что речь идет о двух совершенно раз-

ных войнах. О двух разных войнах, уже много лет воюющих между собой.

Перефразируя слова поэта, можно сказать, что “бежит война, войне войной хребет ломая”. И кто знает, сколько это еще будет длиться.

Власть и оппозиции

Ключевые понятия, употребляемые в нынешней официальной пропагандистской риторике, всего лишь калькируют те, что были в ходу в советские времена. Только вот устойчивая когда-то понятийная оппозиция “советский — антисоветский” заменена на “российский — антироссийский”.

В первом случае эта оппозиция была более или менее понятна всем, в том числе и тем гражданам позднего СССР, которые сами обозначали свои взгляды и убеждения как “антисоветские”. Но неко-

торая двусмысленность существовала и тогда. Дело в том, что у слова “советский” было два значения. Одно из них было вполне нейтральным и объективным. Оно было чисто географическим и юридическим, потому что существовало государство под названием Советский Союз, населенное советскими гражданами. Второе значение было сугубо оценочным, потому что словом “советский” маркировалась также и советская, то есть коммунистическая идеология, на официальном, законодательном уровне назначенная единственно верной.

В поздние советские годы, то есть в годы моей молодости, это слово стало эпитетом, обозначавшим различные признаки общественной и культурной жизни, оцениваемые разными слоями населения, мягко говоря, не вполне одинаково, а иногда и прямо противоположно. Такая антонимичность слова по отношению к самому себе обозначила идейный, нравственный и эстетический раскол общества. Для одних слово “советский” означало нечто передовое, надежное, единственно правильное и победоносное. Для других — нечто ублюдочное, провинциальное, жестокое, тупое, аморальное, уродливое, стилистически отсталое.

В повседневном социальном дискурсе тех лет эти два значения постоянно пересекались, наплывали друг на друга, перепутывались, требовали уточнения.

“Ты же советский парень!” — укоризненно сказал мне однажды, в глубокие 70-е годы, милиционер, потребовавший у меня на улице документы, прицепившись к моему внешнему — волосатому и бородатому — облику. “Советский же парень, — говорил он. — А ходишь как..” Но, не найдя слова, которое бы хотя бы приблизительно описывало, как “что” или “кто” я хожу, он изобразил рукой нечто аморфное.

“Конечно, советский!” — с готовностью согласился я, в подтверждение чего достал из узких штанов свою краснокожую паспортину. “Я не это имею в виду”, — сказал милиционер. “А я — это!” — сказал я. Поговорили, что называется.

Мерцание этих двух значений превращало некоторые устойчивые словосочетания, такие, например, как “советский диссидент” или “советское неофициальное искусство”, в режущие глаз и ухо оксюмороны.

В любом случае в оценочных функциях слова “советский” между носителями “советского” и “ан-

тисоветского” (или, что чаще, просто “несоветского”, что в условиях тоталитарного государства расценивалось почти так же) сознания существовал определенный консенсус, притом что сами оценки этого понятия были различны, чтобы не сказать противоположны.

С “русским — антирусским” такого консенсуса нет и быть не может. Как минимум потому, что никакой “русской” идеологии нет и в помине. Да и не может ее быть, какими допотопными имперскими “скрепами” ее бы ни сшивали, какими черными телевизионными мессами ни взбивали бы мыльную пену натужного провинциального патриотизма.

Можно было бы согласиться со своей “антирусскостью” только в одном случае: если признать, что “русское” — это все то, что принадлежит или присуще русской власти, что нынешняя русская власть — это Россия и есть. Но признать это, даже если очень постараться, никак невозможно. Как невозможно понять, что такое “русские интересы”, что такое “действия или высказывания, направленные против России”, что такое, наконец, “русофобия” и прочие понятия из этого ряда,

столь же широко, сколь бессмысленно применяемые в наши дни.

Всем сознательным носителям языка известно, что у слов и словосочетаний есть, помимо словарных, и те значения, которые высвечиваются, так сказать, посредством контекста или мотивации их употребления. Но дело в том, что дискурс власти, стремящейся к тотальному влиянию на общество, не предполагает категории понимания. То, что говорит власть, понимать не надо. Понимать даже и вредно. Даже и опасно. Понимать не надо, нет. Надо либо произвольно раздувать жабры “гордости величия”, либо в соответствии с неусыпной генетической памятью нервно вздрагивать, ощущая, как “холодок бежит за ворот”.

Смысл таких слов, как “национал-предатели” или “пятая колонна”, понимать не надо. Достаточно просто восстанавливать в памяти старые советские фильмы про шпионов и диверсантов или рассказы дедушек и бабушек про те ощущения, которые они в молодости испытывали при звуках автомобильных тормозов в ночном дворе. И не надо даже пытаться понять, что же такое конкретное могут в наши дни означать такие эффектные, но мучи-

тельно бессмысленные слова, как “русофобия” или “предательство”.

В современных цивилизованных обществах, предполагающих идейную и стилистическую множественность, такие слова, как “предательство” или, скажем, “патриотизм”, звучат беспомощно или даже комически, потому что они требуют подробных и убедительных уточнений. В обществах тоталитарных они звучат зловеще и путающе именно в силу своей семантической пустоты. В силу той же самой пустоты они звучат и столь звонко. Сердце чувствительного человека сжимается при их произнесении примерно так же, как при внезапном — посреди ночной тишины — грохоте упавшего медного таза.

В риторической оппозиции “российский — антироссийский” отсутствует элемент рационального. Меня, например, никто не сможет убедить в том, что такая категория, как “российские интересы”, может быть наполнена внятным содержанием, может существовать вне таких безусловных для меня категорий, как мои интересы, как интересы моей семьи, моих друзей и многих других людей, являющихся гражданами России, чьи интересы и взгляды на жизнь не совпадают с “российскими интересами” в созна-

нии их радетелей. Никто не способен доказать, что его интересы и убеждения являются российскими, а мои — нет.

А говорить и понимать все равно необходимо. Потому что потребность в понимании, потребность, пусть даже и отчаянная, рационализировать иррациональное — это потребность внутренняя, и никуда она деться не может. Если эту потребность кому-то угодно квалифицировать как русофобскую или предательскую, то это, в общем-то, его проблемы, не мои. Не наши.

Кому война

Вполне естественно, что множество людей — и здесь, в России, и на Украине, да и где угодно — в эти дни практически не в состоянии думать и говорить ни о чем другом, кроме как об одном — я даже не стану уточнять, о чем именно. Вот именно об этом самом, чье имя мы опасаемся лишней раз произносить вслух.

А потому и неудивительно, что перед лицом надвигающегося апокалиптического ужаса все жадно, как лишенные кислорода подводники, ловят из несвежего воздуха, из трескучего эфира, из

пыльной мировой паутины реальные или мнимые сигналы, симптомы, приметы, исторические аллюзии.

Хочется, ох как хочется из этого тошнотворного треска и железного скрежета выловить хоть что-то, что позволило бы увидеть хотя бы неясные контуры логики, ритма, надежды.

В первую очередь надежды, конечно же. Без нее совсем невозможно дышать, чувствовать, думать и говорить. Ага, говорить. Мутная, недоуменная, унижительная немота наваливается на многих из тех, чей образ жизни напрямую связан с насущной необходимостью формулировать, называть, давать определения, объяснять что-то хотя бы самим себе.

Но пытаемся, все равно пытаемся преодолеть немоту, и в этих мучительных, рефлекторных, почти атавистических попытках не можем не уткнуться носом в старинную, из школьной программы, формулу, в соответствии с которой чудище обло, огромно, стозевно и прочее. А также в то, что “мертвый хватает живого”.

Эфемерные приметы надежды вылавливаются даже не только и не столько из потока шизофренически противоречащих друг другу новостей, сколь-

ко из слов, из речей, из проговорок и недоговорок. Так мы привыкли.

Так мы привыкли, потому что уникальность нашей истории в том, что главные события всегда разворачиваются в пространстве языка — едва ли не единственной реальности в не слишком реальной жизни.

Признаки надежды (как и признаки угрозы) многие вылавливают из риторики разных окол властных политиков и телевизионных ребят, чье запредельное, тотальное, вдохновенное и даже в каком-то смысле сладострастное вранье в принципе отменяет даже очень условные представления о добре, о зле, о профессионализме, о словарных значениях слов.

Робкая надежда вспыхивает от того, например, что в телевизоре кто-то сказал: “Вы что, в самом деле! Что за панические и безответственные разговоры про какую-то войну! Войны не будет! Хватит уже об этом!”

Ну да, войны не будет. Потому что “война” — слово сакральное. Нельзя все произносить это слово, как и имя Бога. Потому что многие поколения советских людей с готовностью терпели любые пакости и притеснения от родимой советской власти

под лозунгом “только б не было войны”. Потому что “война” была только одна — та самая, которая “спасибо деду за победу”, та самая, которую нынешняя власть нагло, путем дворового гоп-стопа присвоила себе и назначила главной скрепой, та самая война, якобы в память о которой лояльность к чекистско-воровской власти принято обозначать полосатой ленточкой.

Война была одна. И ее, как известно, посредством чьих-то дедушек выиграли Мизулина с Милоновым. И я ничуть не удивлюсь, если в самое короткое время они сочинят какой-нибудь закон, в соответствии с которым публичное употребление слова “война” в каком-либо ином значении и контексте будет считаться уголовно наказуемым.

А других войн и не было с тех пор. Это же всем известно. Были оказания братской помощи, были контртеррористические операции, были выполнения интернационального долга и введения ограниченных контингентов, были восстановления конституционного порядка с дружественными бомбежками городов. А войн не было.

И население страны всегда делилось на две неравные части. Одна — всегда меньшая — упорно на-

звала войну войной, подлость подлостью, трусость трусостью, а глупость глупостью. Другая, бóльшая, подверженная воздействию официальной пропаганды, войну называла миролюбивой политикой, подлость — патриотизмом, трусость — необходимостью считаться с обстоятельствами, а глупость — верой в мудрую политику партии и правительства.

И эта главная война, война лингвистическая, война за значения слов и понятий, была и остается главной и нескончаемой гражданской войной.

И в полном соответствии с этой логикой, с этим незыблемым порядком вещей ничуть не должно никого изумлять, что собрания граждан под антивоенными лозунгами признаются незаконными и довольно грубо пресекаются, а бюджетные шествия с пресловутыми ленточками и призывами типа “Танки на Киев!” не только поощряются, но и организовываются властью.

Какая война? Вы что! Войны нет. И не будет. Хватит, как говорится, нагнетать. Успокойтесь уже. Успокоились? Ну вот и хорошо.

Мономентальная пропаганда

В последнее время все чаще звучит волшебное, как бы умиротворяющее, но основательно, к сожалению, бессмысленное слово “диалог”. О диалоге, о необходимости диалога говорят более или менее все, включая тех, кто под диалогом понимает допрос в прокуратуре или духоподъемное общение по прямой линии президента с радостно оживленной толпой верно-подданных граждан: “Трудно вам, наверное, дорогой господин президент, управлять такой бестолковой и неблагодарной публикой, как мы тут? — Да

уж нелегко, если правду сказать! Но уж справимся как-нибудь. Если, конечно, окажете доверие. — Окажем, окажем, куда мы денемся. А вот народ волнуется: когда мы уже наконец-то присоединим Гренландию? Без Гренландии как-то не того, чего-то как будто не хватает. — Не все сразу, не все сразу... ”

Скептики говорят, что какой, мол, диалог, если, вообще-то говоря, идет война, пусть и необъявленная. Я понимаю скептиков, но и я безусловный сторонник того, что диалог насущно необходим. На всех уровнях и — в труднодостижимом идеале — всех со всеми.

И дело даже не в том, что он необходим. Дело в том, что настоящая, глубинная и губительная война проистекает между двумя типами сознания — диалогическим и монологическим. Диалогическое сознание направлено на установление коммуникационного комфорта, на мучительный, но насущно необходимый поиск взаимопонятного языка, владение которым или хотя бы изучение которого сводит к минимуму необратимые социальные и культурные катастрофы.

Монологическое сознание не стремится к разговору. Оно стремится к расширению пространства

собственного обитания и влияния. Оно стремится к экспансии, в том числе и территориальной.

Ложь в пространстве настоящего, то есть горизонтального диалога всегда подконтрольна, всегда уязвима. В монологическом же пространстве, где узаконена монополия на истину, ложь всегда стремится к тотальности и с легкостью ее достигает.

Иногда кажется, что они — и заказчики, и изготовители этого тотального вранья — сами в какой-то момент начинают в него верить. Что и понятно: когда долго занимаешься изготовлением ядовитых газов, и сам в конце концов надышишься ими до отвала.

Иногда кажется, что их обида и негодование, направленные на тех, кто им упорно не верит, вполне искренни.

Иногда кажется, что их тотальное вранье выходит за пределы чисто инструментальных задач, что оно и есть основа для искомой “госидеологии”.

Эту самую идеологию коротко можно обозначить как “суверенная правда”. Слово “суверенный”, запущенное однажды в пропагандистский оборот, оказалось необычайно удобным в силу своей повышенной семантической пластичности.

В соответствии с этой идеологией “правда” — это вовсе не то, что правдой считается в лицемерном “Пиндостане” или в “содомской Гейропе”.

Правда — это не то, что проверяется непосредственным или историческим опытом, это не то, что можно увидеть, услышать, потрогать и понюхать. Это совсем не то, что нуждается в доказательствах и вещественных подтверждениях.

“Поймите же наконец, тупые, упертые люди, — как бы говорят наши “правдоделы”, — что наша правда су-ве-рен-на-я. Мы выстрадали ее в боях и лишениях наших героических предков. Наша правда — это то, что мы говорим. И не верить ей, этой правде, может или дурак, или враг. Неужели это до сих пор непонятно?”

Некоторые горестно констатируют, что все творящееся в официальном медиапространстве — это никакая не информация, никакая не журналистика, никакая не аналитика, а самая что ни есть вульгарная пропаганда.

Да нет, по-моему, это уже даже и не пропаганда. Пропаганда, даже самая оголтелая и беспардонная, все же обладает набором определенных правил,

приемов, считываемых кодов. Пропаганда — это все же какая-никакая профессия.

Это не пропаганда, нет. Это типичный прорыв канализации. Со всеми вытекающими последствиями. И при этом выясняется, что у многих сограждан начисто отсутствуют рецепторы, отвечающие за обоняние.

Этот прорыв нуждается в осмыслении и изучении. Важно же понять, каковы его возможные социально-культурные последствия. Но это дело будущего, надеюсь, не слишком отдаленного. Находясь же посреди ЭТОГО, довольно затруднительно соблюсти строгий академический тон. Как-то он не задается. Гораздо насущнее в этой ситуации искать и по возможности находить средства защиты от этого бурного потока. Одним из таких средств — и, может быть, самым универсальным — служит как раз диалог.

Нормальный ход

Не так давно и уже не помню по какому конкретному поводу я сделал такую запись на своей странице в Фейсбуке:

Друзья, самое-то ужасное не в наличии и даже, можно сказать, товарном изобилии кромешных мудаков вокруг нас. Ну, мало ли — “живем в таком климате — того и гляди снег пойдет” (“Три сестры”). Ужас-то не в этом. А скорее в том, что, постоянно отбиваясь от их мудаческих наскоков и даже по-интеллигентному пытаясь им что-то объяснить и как-

то их вразумить, мы катастрофически теряем время, вместо того чтобы жить дальше — в ритме и в темпе ускользящего от нас современного мира.

Иногда кажется, что этот канализационный напор агрессивного мудачества для того специально и существует, чтобы на как можно дольше притормозить “нормальный ход”. Ну, по принципу “ребята, бегите, я их задержу”. И ведь задерживают, надо признаться. Впрочем, я, кажется, вступаю в область конспирологии, которую страшно не люблю, потому что... Ну, в общем не люблю.

И тем не менее...

И тем не менее это действительно проблема. И эта проблема, проблема выбора поведенческой стратегии в навязанных социально-культурных обстоятельствах, мягко говоря, не новая.

В годы, людям нового поколения кажущиеся уже почти что легендарными, в основе таковой стратегии для меня и для той среды, к которой я имел счастье принадлежать, было максимальное дистанцирование от всего официального, от всего, что мы где-то сознательно, а где-то интуитивно маркировали как “советское”.

Но и не только.

Мы дистанцировались также и от той социально-культурной стратегии, которую мы очень приблизительно и неточно определяли как “диссидентскую”. Потому что носители этой стратегии вступали в разговор с властью, а власть им навязывала свой язык. Они говорили на одном языке, хотя цели, задачи и пафос этого говорения были не только разными, но и прямо противоположными. Это притом, что ко многим из этих прекрасных людей мы испытывали уважение, иногда граничащее с преклонением, у многих из них с разной степенью успешности пытались учиться мужеству и бесстрашию, с некоторыми из них дружили лично.

Но в какой-то момент мы стали с недоверием относиться к определенному типу речевого или художественного поведения, которое, борясь с “системой”, усвоило ее язык. Этот язык, который мы очень неточно определяли как “диссидентский”, был по сути языком советским, даром что он был антисоветским.

Мы понимали, что для такой борьбы необходим свой язык. И этот язык стал активно формироваться. Этот непонятный властям язык раздражал их, пожалуй, больше, чем понятный для них язык

прямого высказывания, направленного против них. Непонятное для них было страшнее понятного.

Мы не разговаривали с властью. Мы не разговаривали с ней именно для того, чтобы не терять темпа и ритма, чтобы не терять времени на бессмысленное выяснение отношений. Мы этих отношений просто избегали. Разумеется, насколько это позволяли обстоятельства.

А обстоятельства это позволяли далеко не всегда, потому что власть-то как раз нами очень даже интересовалась. И иногда — активно.

Наша позиция, наше местоположение в социуме и в культуре никогда не воспринималось нами как ущербное, вынужденное и даже как временное.

История распорядилась таким образом, что оно оказалось временным. Но мы этого тогда предположить не могли и выстраивали свой универсальный мир как постоянный. Мы готовились именно так, а не иначе жить всегда, и это нас ничуть не пугало и не вводило в уныние. Напротив — нахождение самого себя и своего уникального места в культурном пространстве, а также обнаружение рядом с собой родственных душ и постепенное расширение их круга воспринимались как свершившееся счастье, как подарок судьбы, как редкая и драгоценная удача.

И это было, между прочим, счастливое время. Потому что нам удалось тогда просто взять и отвязаться, отстегнуться от пыхтящего медлительного паровоза и пуститься в путь налегке, не оглядываясь ни на кого, кроме как друг на друга.

Я и теперь считаю эту стратегию, этот путь верными и продуктивными.

Поэтому сегодня мне представляется столь же мучительно причудливой, как температурный сон, навязанная необходимость в эти дни, во второе десятилетие XXI века, заново формулировать все то, что стало для меня не менее очевидным, чем таблица умножения, еще в конце 60-х годов прошлого века. Кажется просто невероятным окунуться вдруг в споры о, например, сходствах или различиях сталинского СССР и гитлеровской Германии. Или о том, что важнее — человек или государство. Или о том, насколько враждебно тебе все то, что тебе незнакомо или непонятно.

Не надо, мне кажется, пускаться ни в какие подобные споры. Иначе мы так и будем ходить кругами, спотыкаясь об одни и те же кочки и коряги. Пойдемте уже дальше, предоставив мертвым самим хоронить своих мертвецов.

Начальники масштаба

Ладно бы полицейское государство в лице своих многочисленных карательных институтов всеми силами пыталось истребить не только права и свободы граждан, но даже и стремление к ним — это-то как раз понятно.

Но дело в том, что и значительная часть подведомственного населения вполне искренне воспринимает всех тех, кто утомительно долдонит о каких-то неведомых и непонятных правах и свободах, как неблагодарных ублюдков и врагов не только государства, но и своих собственных.

Ну ведь правда же непонятно, что это за такие права и свободы и кому и зачем они вообще нужны, если гречка в магазине есть, а в телевизоре до хранища развлекательных программ и добрых советских фильмов.

Да и чего им не хватает-то? Какой такой свободы?

Эта картина мира десятилетиями складывалась из коллективного опыта приюта, колхоза, барака, пионерских и не вполне пионерских лагерей.

Человек, не наделенный внутренней свободой, никогда не сможет, а скорее всего, и не захочет потратить хоть сколько-нибудь усилий на последовательное и упорное отстаивание свободы, так сказать, внешней — то есть свободы передвижения, свободы высказывания, свободы деловой инициативы и так далее. Он никогда не научится ценить свободу — ни свою, ни чужую. Человек, не научившийся уважать себя самого и свои собственные права, никогда не научится уважать права других.

Зачем свобода, когда есть Величие?

А “величие” в сознании у многих прочно связано с “масштабностью”, причем с любой. Поэтому ужасающие одних масштабы убийств и государ-

ственных репрессий, масштабы голода, лишений, изувеченных людских судеб, для других служат объектом чуть ли не персональной гордости. Немыслимые, не переваренные ни разумом, ни цивилизационным процессом просторы страны стали убедительнейшей, хотя и расположенной за пределами всякой логики метафорой “великой истории”. Историю с успехом, хотя и сомнительным, заменила география.

Эта механистическая гигантомания проявляется на всех уровнях, иногда и весьма комических. Мой одноклассник, поступивший после школы в театральное училище, очень смешно рассказывал в лицах (актер все-таки), как их, первокурсников, повели однажды на экскурсию в Театр Советской армии. По театру их водил некто по хозяйственной части, в чине примерно подполковника.

“Это наша сцена, — торжественно говорил он. — Она — гектар. А это — занавес. Девять с половиной тонн”. Думаю, что приятель мой слегка все же утрировал (актер), но не думаю, что слишком.

Вот и военными победами гордятся в том числе и потому, что они были достигнуты чудовищными по масштабам человеческими жертвами.

Жертвенность — великое и благородное понятие. Но не все понимают, что жертвенность — это готовность ради спасения ближнего или утверждения истины жертвовать собой. Собой, а не другими. Где-то когда-то мне попалась забавная заметка, в которой рассказывалось, как некий неутомный гражданин, добиваясь от каких-то госучреждений безотлагательного решения своей жилищной проблемы, в очередном своем заявлении пригрозил публичным самоожжением своей жены Людмилы.

Некоторые дежурные назидательные слоганы, которыми власть время от времени пытается подкармливать вверенное ей население, изголодавшееся, как ей кажется, по ее отеческим наставлениям, своей лексикой, фразеологией и ущербной логикой свидетельствуют о том, что население это воспринимается властью как состоящее из детей.

Особенно когда речь идет о таких болезненных с точки зрения начальства категориях, как, например, свобода. “Свобода — это не вседозволенность”, — внушает взрослая, умудренная опытом власть средней группе детского сада. “Рынок, — объясняет она же, но уже старшей группе детского сада, — это не базар”.

Не, ну надо же! Вот ведь как, оказывается! “Не вседозволенность — слышали? А мы-то тут было решили... Ну тогда конечно. Тогда ну ее к лешему, эту вашу свободу, раз она не вседозволенность. Нам бы, конечно, лучше, чтобы вседозволенность. А раз так, то чего уж там”.

Подобные мудрости и прочие крылатые слова в силу их фатальной бесплодности неизбежно вырождаются в совсем уже чахлые мутанты наподобие “свобода лучше, чем несвобода”, с которыми по философской глубине может соперничать только прочно вошедшая в потешный репертуар нескольких поколений “экономика должна быть экономной”. Это уж точно не базар. Хотя, прямо скажем, и не то чтобы рынок.

Они все время разговаривают как бы с детьми. И нельзя сказать, что так уж они и не правы. Российское население в силу своей травматической истории в значительной части действительно инфантильно и действительно воспринимает власть как нечто такое, что назначает само себя исключительно для того, чтобы его, население, кормить, одевать, согревать в суровую зимнюю пору и строго наказывать за непослушание. Есть, конечно, и другая

часть населения, есть же все-таки и какое-никакое общество, пусть на сегодняшний день и удручающе немногочисленное, но все же растущее.

Но и ему пытаются объяснять, что свобода сама по себе не гарантирует процветания. Да ну! Да что вы говорите! А мы-то думали! Так вот. Взрослая часть общества и без вас знает, что не гарантирует. И получше вас она это знает, между прочим. А еще она, в отличие от вас, точно знает, что отсутствие свободы дает уж точно надежные гарантии — гарантии маляра, депрессии, убожества и безграничного права на насилие и на ложь без конца и без края.

Вечная зима

Выволвленной из новостной ленты фразе, на первый взгляд безликой и аскетичной, — “Госдума вводит в России постоянное зимнее время” — есть нечто завораживающее. Нечто такое, что заставляет включить воображение, совсем уже было замордованное мощным напором реальности, каковая в наши дни всяческое наше воображение обгоняет на два круга как минимум.

Вообще-то всякие игры со временем всегда были прерогативой искусства. И “в поисках утраченного времени”, и “бег времени”, и “шум време-

ни”, и “остановись, мгновенье”, и многое другое. Останавливать время или пускать его вскачь умели лишь поэты и музыканты.

Но с категорией времени работает и история. Впрочем, и она, прежде чем стать наукой, была искусством, руководимым специально приставленной к этому делу музой. Потом она стала все же наукой. То есть для кого-то стала, а для кого-то осталась сводом мифов и преданий.

Наше национальное восприятие истории подчинено календарным циклам, что свойственно главным образом крестьянскому или, пуще того, родоплеменному сознанию. Всякий раз все начинается заново. И всякий раз — навсегда.

Я где-то когда-то прочитал, что жители одного из островов Тихого океана с повышенной эмоциональностью переживают смену времени суток. Просыпаются поутру они с ощущением детского счастья и бурно радуются жизни вплоть до того момента, когда солнце начинает катиться к закату. Ближе к вечеру они впадают в коллективное уныние, а с наступлением темноты из каждой хижинки доносятся горькие рыдания. Так они радуются ежедневному рождению и горюют по поводу ежедневного умирания.

Здесь все же не совсем так. Но все равно любой сезон, тем более сезон социально-политический, воспринимается как вечный. Вечная осень здесь сменяется вечной зимой и наоборот, а чухлым эрзацем практически недостижимой “вечной весны” служит время от времени спускаемая сверху слякотная, гриппозная, хотя и отмеченная редкими солнечными проблесками “оттепель”, о которой потом долго с умилением вспоминают как о “потерянном рае”, как о “времени упущенных возможностей”, о легендарном “золотом веке”. “Эх, было время, — кряхтят старожилы. — Вам-то, молодым, и не понять. С вашим-то клиповым сознанием”.

Освященное славной традицией предков всенародное беспамятство — фон для наших госдумцев, для их неустанных трудов и дней, исключительно благоприятный. Вот кто, скажите, кроме злопамятных и вредоносных представителей пятой колонны, помнит о том, что они совсем недавно с государственным восторгом, сопоставимым лишь с восторгом шестилетнего ребенка, пускающего с балкона мыльные пузыри, вводили не менее постоянное летнее время? Столь же вечное, как теперь зимнее. Да никто ни фигя не помнит. А и чего тут

помнить-то. Подумаешь. Ввели, потом вынули, потом снова ввели. И с такой же примерно степенью ответственности, каковая описана старой циничной прибауткой “Наше дело не рожать — сунул, вынул и бежать”.

Или, как более изящно выразился однажды Юз Алешковский в одной из своих блистательных стилизаций:

Династия Сунь
Сменится династией Вынь.
А любовь остается навеки.

Ох, если бы и правда любовь...

Морально-поэтические ценности

Некоторые сокрушаются и даже ужасаются по поводу этих зашкаливающих рейтингов. А я почему-то нет. И даже не только потому, что я в эти опросы и их результаты не очень-то верю. Дело даже не в этом. Ну, допустим, они, эти результаты, правдоподобны. Допустим. И что из того?

Мы что, только сегодня проснулись? Мы что, никогда не знали, где мы живем? Нам что, до сих пор неизвестны садомазохистские наклонности статистического большинства нашего так называе-

мого общества, автоматически одобряющего ложь и насилие, проявляемые в том числе и по отношению к ним самим?

Мы что, впервые узнали о том, что в основу государственнического, верноподданнического дискурса заложены представления о тотальной лжи как о политической мудрости и о тотальном насилии как о необходимых мерах по наведению общественного порядка и установлению государственного благолепия?

Нам что, раньше не было известно, что взоры огромного числа сограждан в смертельном страхе перед современностью радуются ровному и спокойному, как им кажется, безжизненному общественно-культурному ландшафту, который они с подачи верховных жрецов привыкли именовать стабильностью?

Мы раньше, что ли, не знали о том, что ужас не только перед настоящим, но и перед будущим заставляет искать спасения и отрады в хорошо мифологизированном прошлом? О том, что “слез восторга не скрывая, развернув глаза назад, скажем мы: «Не надо рая, дайте нам привычный ад»”?

Для нас ли все еще не очевидна разрушительная, растлевающая роль агрессивной и бездумной государственной пропаганды, довольно, надо сказать, умело использующей традиционное, овеванное веками детское доверие к сказке?

Вот и творится на наших глазах сказка за сказкой, даром что было сказано: “Сказка — ложь”.

Потому вполне сознательно, а не в силу, как многие думают, обычной профессиональной непригодности, в информационном пространстве смешиваются до неразличимости различные виды и жанры искусства и журналистики, вольно перетекающие друг в друга.

Вполне сознательно игнорируются границы между функциями и задачами беллетристики и журналистики, игрового кино и документального репортажа. Игнорируются с такой же циничной легкостью, как и границы государственные.

Некоторые из этих журналистов чего-то там заканчивали. И им, разумеется, объясняли, чем беллетристика отличается от репортажа, а игровое кино от документального. Они и сами знают, что кадры с места боев — это одно, а кадры из кинофильма Тарантино — это совсем другое. Что проза Владими-

ра Сорокина — это одно, а аналитическая колонка — совсем другое.

Они прекрасно знают, что у всего этого совсем, мягко говоря, разные социальные и культурные функции. Что “сказка-ложь” — это правильно, а “информация-ложь” — это, в общем-то, должностное преступление.

Вот и слово “правда” в результате их усилий уже не вполне понятно что обозначает. Потому что все чаще и чаще те, кто употребляет это слово, или не понимают, или игнорируют существенные, содержательные оттенки его значений, не принимая в расчет, что правда, например, научная, или, допустим, правда журналистская, или правда судебно-следственная, или правда дипломатическая совсем не то же самое, что правда, например, художественная.

Стоит ли удивляться тому, что за рассказы в телевизоре о распятых отроках и пр. из уст кочующих, как Агасфер, из сюжета в сюжет заполощных “свидетельниц зверских преступлений” никто никакой ответственности — ни моральной, ни, тем более, должностной — не понесет и понести не может. “Это же искусство, ребята! Вы чего?!” Некоторые из них, как мне кажется, и правда считают, будто они

там занимаются искусством. А потому и обвинения во вранье считают абсурдными.

Тот, кто оценивает художественное произведение с точки зрения соответствия или несоответствия жизненным реалиям, по степени жизнеспособности, — человек просто не очень развитой.

Тот, кто выстраивает репортаж или новостной сюжет по законам, так сказать, художественным или по тем, какие он таковыми считает, — либо безумец, либо циничный жулик.

Так что стоит ли удивляться всяким рейтингам?

Мы что, не знаем, что бывает, когда годами и десятилетиями культивируется историческое беспмятство как национальная идея? Что бывает, когда возведенное в главный принцип информационной стратегии государства демонстративное небрежение причинно-следственными связями превращает огромную страну в сплошной причинно-следственный изолятор?

Для нас, что ли, является новостью, что многие, очень многие испытывают самую настоящую эйфорию от того, что им на самом высоком уровне позволили наконец-то появляться на публике без штанов?

Поводов для тоски, для уныния, для мучительного ощущения собственного бессилия, для острого ощущения стыда в наши дни много.

А вот все равно не надо унывать! И не надо говорить о “слишком тонком слое”. Он тонок, этот слой, правда. Но он есть. И всегда был. Даже в годы моей юности, когда казалось, что этот “слой” помещается в одной комнате. И он всегда будет. И этот самый слой, сколь бы тонок он ни был, собственно говоря, и есть общество, если, конечно, под обществом понимать совокупность людей, посредством персональных усилий сохраняющих ориентацию во времени и в пространстве, в мировой истории и в родном языке, в базовых, обязательных для всех и для каждого нравственных категориях, а не в “суверенных”, колхозно-барачных, родоплеменных, приклатенных “скрепах”. А полагать, будто эти зашкаливающие рейтинги свидетельствуют о народном согласии и об общественном здоровье, — это как быть уверенным в том, что чем выше температура тела, тем человеку лучше.

Не о Сталине

Кинокартин или спектаклей, где фигурировал бы товарищ Сталин, я практически не помню. Смутно помню лишь какой-то фильм. Кажется, он назывался “Оборона Царицына”. То есть не кажется, а именно так он и назывался. И в этом фильме ничего и ничего, кроме медленно прохаживавшегося вокруг стола с трубкой в руке усатого человека, я не запомнил. Можно считать, что и не видел я ничего.

Подвижный образ Сталина мне, повторяю, практически не попадался. А вот его статуарный образ,

его бюсты и монументы, обильная и разнообразная его иконография служили постоянным, неутасимым фоном моего раннего детства. Даже и слово “портрет” в моем представлении означало “Сталин”. Сам я этого не помню, но мама рассказывала, что, рассматривая и листая школьные учебники моего старшего брата с разными портретами, я приговаривал: “А этот Сталин — Пушкин. А этот Сталин — Ломоносов. А этот Сталин — Мичурин”.

Портреты Сталина, особенно цветные, особенно те, что в “Огоньке”, мне очень нравились. Смысловым же центром любой композиции мне всегда виделись усы. Именно они. Не лучащиеся мудростью и добротой, слегка прищуренные глаза, не золоченые погоны с исполинскими звездами на них, не благородная — волосок к волоску — седоватая шевелюра. Нет, именно усы.

Однажды мама обнаружила, что на всех страницах недавно подаренного мне альбома для рисования был один и тот же повторяющийся сюжет. Усы. Только лишь усы, раскрашенные разными цветами — красным, желтым, синим, фиолетовым, зеленым, снова красным. Я бесконечно повторял эти усы в тщетной попытке добиться идеальной, но

издевательски ускользящей от меня симметрии. Я еще не понимал тогда, что идеальная симметрия нерукотворна и что смысл всякого живого искусства заключен в том числе и в конструктивном ее нарушении.

Много лет спустя, увидев альбом Хокусая “Тридцать шесть видов Фудзи”, я, конечно же, вспомнил об этих сталинских усах.

Но это сильно позже. А вот тогда, когда мама обнаружила мои “тридцать шесть видов”, она страшно испугалась, отняла у меня этот альбом и под мощный аккомпанемент моего отчаянного рева сожгла его в печке.

В наши дни не может, конечно, не возникнуть законный вопрос: а почему это, собственно, было понятно, чьи именно усы я изображал?

Но тогда вопрос о владельце усов, примерно так же, как и об отдельно взятой улыбке Чеширского кота, не стоял. Чьи, чьи... Понятно чьи! Не надо задавать глупых вопросов!

Вокруг вырванных из иконографического контекста “усов” автоматически, сам собой воссоздавался образ их, может быть, и не единственного, но безусловно главного обладателя. А этот образ, ос-

нащенный зелеными или фиолетовыми усами, получался, мягко говоря, не слишком каноническим, а потому чреватым для его создателя легко предсказуемыми последствиями.

Фильмов, где бы фигурировал Сталин, я, как уже было сказано, в детстве практически не видел. Да их и не было вплоть до семидесятых годов — времени робкой, трусоватой и оттого особенно противной ресталинизации. В тогдашних бесконечных и мало отличных друг от друга киноэпопеях на военную тему стал возникать Сталин — не то чтобы положительный и не то чтобы отрицательный, а, так сказать, “неоднозначный”. Но тогда я уже был взрослым и эти фильмы не очень-то смотрел.

А вот сталиниана сталинского времени нигде не шла. Ни в кино, ни по телевизору. И знал я об этих эпохалках в основном из воспоминаний старших друзей. Особняком там значился совершенно, судя по всему, выдающийся по своей мифологической мощи шедевр, который назывался “Падение Берлина”.

Кое-что про него я знал. Знал, например, о том, что фильм был снят в 1949 году режиссером Чиаурели по сценарию сталинского лауреата Павленко,

известного не только лауреатским романом с простеньким названием “Счастье”, но и небесполезной для обеих сторон сердечной дружбой с органами.

Кое-что знал, но фильма до поры до времени не видел.

И все-таки я его увидел. Хотя и не целиком. Это произошло зимой 94-го года. Я включил телевизор в тот момент, когда эпопея клонилась к величественному закату, к апофеозу, к финальной сцене, где самолет с вождем прилетает в поверженный Берлин и садится на площадь перед Рейхстагом — а куда же еще вы хотели бы, чтобы сел самолет.

В этой сцене великий вождь выходит из самолета в белом маршальском кителе и спокойно, неторопливо и вдумчиво идет вдоль рядов бывших военнопленных в полосатых одеждах. Его восторженно приветствуют люди разных национальностей — представители освобожденных народов Европы. Освобожденные народы, симметрично — наподобие тех самых злополучных усов — расположившиеся по обе стороны от величественной фигуры своего освободителя, стройно, как оперный хор, не скрывая слез и дисциплинированно соблюдая живую очередь, выкрикивают слова благодарности.

Слова эти звучат на разных языках, но слово “Сталин” понятно каждому.

Явно не предусмотренный создателями этой вампуки комический эффект многократно усугублялся совершенно немыслимым пространственно-временным контекстом, в каком настигли меня эти кадры.

Во-первых, я увидел его не где-нибудь, а, представьте себе, буквально в городе Берлине, о падении которого рассказывала выдающаяся кинолента, и совсем недалеко от того места, куда однажды прямо с небес сошел товарищ Сталин. Дело в том, что в эти дни на одном из немецких телеканалов шла ретроспектива старого советского кино. Заглядывал я туда редко — было не слишком интересно, да и многие фильмы были мне хорошо знакомы. А тут вдруг включил и сразу понял, на что наткнулся.

Во-вторых, фильм был дублирован, поэтому все его герои разговаривали по-немецки. Буквально все: Гитлер, Сталин, Жуков, красноармейцы, партизаны, эсэсовцы, угнанные в Германию украинские девушки — все.

Я не могу передать, до чего это было смешно.

Когда дивное зрелище закончилось, я переключился на канал, где были новости. В том числе и из

Москвы. Там показали коммунистическую демонстрацию, и первым, что я увидел, был большой, уса-тый, как будто выдернутый из только что увиденно-го кинофильма портрет, под густым мокрым снегом медленно плывущий над головами угрюмой толпы. Комментатор, как только что Сталин в берлинском телевизоре, тоже говорил что-то по-немецки. И это было ничуть не смешно.

Я совсем не знаю, что ответить, если кто-нибудь зачем-нибудь спросит, о чем этот текст. Уж точно он не о Сталине, хотя может показаться, что он тут главный. И не о его изображениях, с самого раннего детства вплетенных в плотную ткань моего визуального опыта. И уж совсем не об особенностях тоталитарного кинематографа. И не о том, что примерно одно и то же в различных исторических или пространственно-временных контекстах может быть гомерически смешным и тоскливо-зловещим. Этого кто же не знает!

А может быть, речь идет о фатальной недостижимости идеальной симметрии, принимаемой иногда за признаки гармонии мира, взаимного согласия всех его разрозненных элементов? Или о том, что эта самая недостижимость — признак жизни и есть.

Или речь идет о ритме, не всегда уловимом и осознанном, но всегда заставляющем нас в тот или иной момент и, казалось бы, невпопад выдергивать из памяти непонятно к чему относящиеся фрагменты и эпизоды, слова и словечки, полузабытые выцветшие картинки, мелодии, запахи?

Может быть, и так. Потому что ритм — в музыке, в поэзии, в истории, в биографии, — как и симметрия, тоже не бывает идеальным. Элементы и эпизоды никогда не повторяют друг друга буквально. Они лишь рифмуются и перекликаются. Но пока мы не теряем способности расслышать в беспорядочном шуме и скрежете эти переклички и ауканья, нас не оставляет уверенность или хотя бы надежда на то, что мы тут не одни.

Бес обиды

В общем-то это понятно, хотя и не слишком утешительно.

Понятно, что существуют люди — и их много, — которые в действиях и высказываниях руководствуются не тем, что “законно”, а тем, что весело и, как им кажется, духоподъемно.

В силу специфических особенностей отечественной истории закон и “веселуха” совпадают крайне редко.

Понятно, что “закон” — вещь нудная и унылая, никогда и никем не соблюдаемая, да и вообще это не местное изобретение.

Поэтому рулит “справедливость”, понимаемая до изумления произвольно и формулируемая с бесподобной артистической небрежностью и вдохновенным своеволием.

Жить в мире сказочных сюжетов, трактуемых соответственно текущему моменту, и метафор, понимаемых с первобытной буквальностью, куда как увлекательнее и, главное, самооправдательнее, чем в мире не всегда комфортабельной современности, требующей персональной, а не коллективной (то есть ничьей) ответственности за высказывания и поступки.

Обида на современный мир, бестактно пытающийся оторвать такого человека от его сладких, как бабушкины пирожки, и уютных, как дедушкины валенки, грез, совершенно искренняя. Это обида ребенка на бестактных взрослых, которые вдруг возьмут да и сообщат, что никакого Деда Мороза на самом деле не существует.

Но современный мир, со своей стороны, решительно не может понять, на каком основании этот трудный подросток, так и не научившийся пользоваться ножом и вилкой, благодарить за подарки и извиняться за дурные поступки, настойчиво

и агрессивно требует, чтобы его сажали за взрослый стол.

Кстати, именно к далекому детству восходит эта мучительная аллергия на любые жесты благодарности или раскаяния. Отчего мы постоянно слышим: “Почему это мы все время должны всех благодарить и перед всеми извиняться. Пусть сначала они. Хватит уже! Пора уже заявить во всеуслышанье...”

Да, устойчивое отношение к “спасибо” и “извините” как к жестам униженности и признания своей зависимости именно оттуда, из детства. Из того самого золотого детства, когда им то и дело говорили: “Тетя дала тебе конфетку. А ну-ка, что надо сказать? Что надо сказать, я спрашиваю! А ну-ка скажи спасибо. Ладно, дома поговорим... Ты зачем наступил дяде на ногу? Ну-ка извинись сейчас же! Извинись, я сказала! Ух, ты у меня сейчас получишь!”

Благодарят и извиняются только слабаки, как известно. Только те, кто не “сумел себя поставить”. Только те, кого “мамка заставила”.

А потому неудобная, постылая современность, все разнообразие которой обеспечивается лишь сущей ерундой, то есть общепринятыми представлениями об общественных приличиях и спаситель-

ным уважением к закону, облегченно заменяется “суверенностью”, благо и в этих словах много общих букв. Так же примерно в названиях отечественных аналогов импортных лекарств иногда меняют местами буквы или слоги. Вроде бы то же самое, но свое, местное, суверенное.

“Суверенность” же в данном конкретном случае означает вовсе не право на уникальность или оригинальность — что было бы естественно, — а, прямо скажем, универсальное оправдание своего нежелания следовать общепринятым правилам и нормам политического, социального, культурного поведения. “Затем, что ветру, и орлу, и сердцу девы нет закона”.

На пару слов

Есть такое трудно переводимое на другие языки, но хорошо понятное в пространстве местной действительности слово, как “понты”. И есть такое ключевое в контексте нынешней российской реальности понятие, как “бабло”.

И напрасно некоторые наивные люди думают, будто бы это самое “бабло” легко и непринужденно, звеня и подпрыгивая, переводится на все языки мира как “деньги”. Нет, дорогие мои! “Бабло” — это не деньги, хотя и на него можно кое-что приобрести. Бабло — это бабло.

Призрачное и двусмысленное благополучие “путинского” мира, не вполне скромно названного недавно “русским миром”, держалось до поры до времени на способности конвертировать понты в бабло и обратно. Эти противоположенные отношения символического капитала с реальным все-таки дали или в самое ближайшее время дадут сбой. Понты понтами, а экономика экономикой. Формула “с деньгами мы и без ума проживем” более чем соблазнительна, но, увы, недолговечна, как и всякий скоропортящийся товар.

Бабло — это не то, что зарабатывают, копят, вкладывают в экономику, образование или здоровье. Бабло — это то, что отжимают, откатывают, заносят, наваривают, отмывают и прокручивают.

Несколько лет тому назад был популярен лозунг, казавшийся многим остроумным и афористичным. Этот лозунг многие замечали на задних окошках автомобилей. Он гласил: “Бабло побеждает зло”. Смешно? Ага, смешно. Хотя и неверно. Потому что бабло не “побеждает”, а порождает зло. Которое, в свою очередь, порождает бабло. И обратно. И эта возгонка чревата иногда непредсказуемыми последствиями наподобие печально из-

вестного крымского гоп-стопа и всего прочего, что последовало за ним.

А это уже не про “бабло”. Это уже про “понты”, которые иногда называют патриотизмом.

Еще совсем недавно гламурная имперская риторика на ровном мерцающем фоне благодушно-го антиамериканизма казалась почти безобидной, потому что не была страстной. Потому что бурлящие в беспокойных душах темные страсти — то есть опять же понты — уравнивались страстью к баблу. Этот потешный, бездумный и автоматический антиамериканизм был не столько убеждением (какие там убеждения), сколько модным поветрием. Ну, просто “так теперь носят”. Это как с широкими или узкими штанами.

Иногда, как, например, в наши дни, понты резко вырываются вперед, и тогда нарушается хрупкое, хотя и важное равновесие. И тогда уже не бабло побеждает зло, а совсем наоборот.

Если “бабло” — это убудочный синоним слова “деньги”, то “понты” — это “суверенный” эквивалент слова “честь”. Так же, как некогда что-то для кого-то означавшая “доблесть” мутировала в беспримерную в своей бессмысленной и разрушитель-

ной вульгарности “крутизну”. В ту самую крутизну, что заставляла президента огромной страны то щеголять на весь мир своим не слишком аполлоновским голым торсом, то, опускаясь на дно морское, таскать оттуда самопальные античные вазочки, то, поднявшись под облака, беспечно парить в компании не повинных ни в чем перелетных птиц, то хмурить державные бровки, то поигрывать подполковничьими желваками.

Это если говорить о “суверенных”, фактически не имеющих аналогов в языках цивилизованных стран понятиях.

Но существуют еще в этом странном языковом пространстве и слова, кажущиеся вполне знакомыми, но чьи инструментальные значения резко расходятся со значениями общепринятыми, словарными.

Значения привычных и иногда очень важных слов подвергаются серьезному испытанию. И испытание это настолько жестоко, что многие его не выдерживают. Многие из этих слов в силу радикальной и разрушительной семантической деформации уже просто непригодны к употреблению. И не сегодня это началось. Уже давно такие слова, как, ска-

жем, “духовность” или “патриотизм”, невозможно употреблять без кавычек.

А я вот, например, в последние дни все время ловлю себя на том, что с тоской и тревогой думаю о дальнейшей судьбе ни в чем не повинного слова “гуманитарный”. А про явно зловецкий в своей оксюморонной образности “гуманитарный конвой” уж и не говорю.

Бестолковый словарь

Время от времени возникает насущная необходимость, подавив взаимное раздражение, на минутку приподняв мутную пелену с глаз и подтерев пену с губ, вернуться к взаимоприемлемым значениям основных терминов и категорий.

Разумеется, это касается лишь тех, кто хотя бы чуть-чуть заинтересован в осмысленном диалоге, а не в обмене истощными проклятиями и зловещими угрозами.

Необходимо заново договориться о смысле различных выражений, в состав которых входят такие слова, как “народ” или “Россия”. Таких, как, например, “интересы России”, “друзья России”, “враги России”.

Надо все-таки как-то совместно решить, являются ли врагами России те, для кого Россия является частью современного мира, пусть даже и особенной (а кто не особенный?), и являются ли ее друзьями те, для кого Россия — это какая-то висящая в воздухе — наподобие свифтовской Лапуты — огромная часть мировой суши, не признающая ни закона всемирного тяготения, ни прочих универсальных физических, общественных и нравственных законов.

Неплохо бы понять, почему магическое слово “суверенный” все в большей и большей степени понимается не как право на уважение к своим и чужим правам, а как право на своевольное неуважение к правам собственных, да и не только собственных, граждан, право на несоблюдение приличий и прочих норм цивилизованного поведения.

Надо разобраться с тем, насколько понятие “Россия” совпадает с ее государственными институтами и вообще с ее совокупным начальством. Другом или

врагом является тот, для кого эта тождественность, мягко говоря, неочевидна. Насколько правильно полагать, будто интересы начальства и “интересы России” — это одно и то же.

Хорошо бы понять, что такое “народ” и в какой степени этот “народ” является активным субъектом отечественной истории и современности.

И что все-таки понимается под “народом”? Точнее, кто? Если народ — это статистическое большинство, выявленное в процессе разной степени достоверности социологических опросов, то существуют ли рациональные основания для уверенности в том, что статистическое меньшинство — это уже не народ?

Либо придется признать, что мы все народ, либо — что никто не народ. Что уже и нет в сущности никакого народа, а есть только слово “народ” как окончательно обесмысленный, хотя и по традиции эффективный инструмент пропагандистских манипуляций.

Однажды я попытался в процессе бесплодного, как оказалось, выяснения понятий с одним интернетовским комментатором выяснить у него, что конкретно он понимает под словом “Родина”, упо-

треблявшимся им с повышенной частотой. Он же мне ответил что-то вроде того, что объяснять такие вещи не надо и что если кто-то не понимает, что это такое, то это значит, что у него никакой Родины нет. Поговорили, что называется.

Хорошо бы разобраться, кстати, и с личными местоимениями. Они ведь для чего-то же все-таки существуют?

Хорошо бы в каждом конкретном случае понимать, кто такие “вы” и кто такие “мы”. И кто такие “они”. Хорошо бы всякий раз ясно представлять, где “я”, где “ты”, где кто.

Надо попытаться по возможности спокойно разобраться, что такое “за нас” и “против нас”. И почему хочется иногда спросить: “«Мы» — это только вы, а не, например, и я тоже?”

Рассказывали, как в начале 80-х годов некий высокий партийный хрен с горы вызвал к себе старого заслуженного дирижера и сказал ему: “Как это так получается, что каждые зарубежные гастроли вашего оркестра заканчиваются тем, что два-три музыканта не возвращаются домой, а остаются за границей? Чего это от вас люди-то бегут?” — “Они не от меня бегут, — ответил дирижер. — Они от вас бегут”.

Ясно? Ясно. Предельно вроде бы ясно. Но отчего эта ясность столь труднодостижима?

С притяжательными местоимениями тоже не мешало бы слегка разобраться. Кто такие, например, “свои”? А кто не “свои”?

Я вот тоже употребляю слово “свой”. “Он свой”, — говорю я иногда о человеке, свойства которого пытаюсь обозначить. Я точно знаю, кто такой “свой”. Свой — это человек схожего с моими образами мыслей и набора базовых ценностей и принципов.

Но в социально-политической риторике слово “свой” (или “наши”) чаще всего обозначает либо политико-географическое (соотечественники), либо — пуще того — родоплеменное единство, которые давно уже никакими единствами не являются.

Парадокс же в том, что чем в большей степени эти “единства” лишены реального содержательного обеспечения, тем они прочнее и соблазнительнее. Советские руководители, кстати, часто употребляли словосочетание “наши люди”, в каковом словосочетании слышались отчетливые отголоски времен крепостного права — “люди графа Шереметева”.

Поэтому обнаружение среди “наших людей” тех, кто не разделяет “генеральную линию”, вызы-

вает понятийный дискомфорт и заставляет придумывать разные не менее бессмысленные термины вроде “малого народа” или “пятой колонны”.

Да и с предложениями тоже не все понятно.

Вот, например, в наши дни стала необычайно распространенной конструкция “ложиться под..”. Под Америку, под Европу, под НАТО, под что угодно.

Неизбежные эротические коннотации такой конструкции очевидны. И если даже принять их за основу дальнейших рассуждений, то не может не возникнуть вопрос: а вправе ли кто-то оспаривать право другого на самостоятельный и добровольный выбор товарища или партнера по постели, по застолью, по любви, по дружбе?

Не каждый ли сам может и должен решать — причем по обоюдному согласию, а не путем принуждения и насилия, — ПОД кого, НА кого, РЯДОМ с кем ложиться, садиться или идти рука об руку?

Почему чье-либо решительное нежелание “ложиться” ПОД Путина или ПОД злобную, вороватую и мракобесную чекистско-углеводородную шоблу вызывает искреннюю или симулируемую (что в данном случае не так важно) ревнивую ярость

разного пошиба профессиональных или самодеятельных патриотов?

Архаическое сознание предполагает борьбу за главное место. Современное сознание — за свое собственное. Кто-то сражается с кем-то за то, чтобы быть главным и первым. Кто-то — за право быть самим собой. А также за право ложиться, садиться, ходить и летать ПОД, НАД и С теми, с кем ему хочется.

Да, я знаю и сам — и не надо мне об этом говорить — о том, что договариваться, в том числе о терминах и категориях, можно лишь с теми, кто сам этого хочет. Знаю и о том, что диалогическое сознание дается с большими усилиями и не всем. Все знаю. Но договариваться все равно надо. И все равно рано или поздно придется.

По крайней мере всем тем, кто еще не забыл библейскую историю о том, чем закончилось сооружение вавилонской вертикали.

Затерянный русский мир

Что такое “русский мир”?

Я тоже иногда употребляю этот термин, но совсем в ином значении. Русский мир — это совокупность по-русски думающих и изъясняющихся людей, живущих в самых разных точках современного мира и объединенных не только родным языком, но и тем, что русская, российская тематика, от политики до культуры, их заботит и беспокоит, может быть, сильнее, чем все прочие. “Русский мир” — это пространство диалога людей, мыслящих по-русски.

Человеку современного мира для культурной или языковой самоидентификации совсем необязательно присваивать территории, где живут представители “русского”, “французского” или “китайского” мира. Для современного человека такая формула, как “Крым наш”, означает всего лишь то, что с Крымом его связывают воспоминания детства или юности, что в Крым он может сколько ему вздумается и когда ему вздумается приехать и жить в нем столько, сколько он захочет. Так некоторые современные немцы покупают в Польше дома в тех местах, где когда-то жили их дедушки и бабушки. Из, так сказать, сентиментальных соображений. Почему бы и нет? Но при этом они не забывают, что дом находится в Польше и что им полагается соблюдать законы этой страны.

Что значит “русские Донбасса” или “русские Новороссии”? Это кто? Это те, кто думает и говорит по-русски? Так и практически все мои киевские, одесские, харьковские друзья и знакомые думают и говорят по-русски, хотя при этом хорошо знают и украинский. И практически все они видят будущее своей страны, то есть Украины, как связанное с Европой и европейскими ценностями.

В Украине, говорите, обижают русских? А в России их, конечно, никто не обижает... Вечный неразрешимый вопрос: почему за русских людей надо заступаться только тогда, когда нам кажется, что их обижают в других местах? Почему считается абсолютно нормальным то длящееся веками положение дел, когда русских гнобят и убивают другие русские, но совершенно недопустимо, когда русского человека обижает “понаехавший” мигрант или когда его обижают — или, что гораздо чаще, кажется, что обижают, — за пределами России? И почему, кстати, за одними пределами, например в социально близкой Туркмении, обижать можно, а в стране, выбравшей европейский вектор, уже нельзя?

Почему люди, живущие на территории Украины, имеющие украинские паспорта, русские? Потому что они себя таковыми считают? Это уважительный мотив, согласен. Каждый человек принадлежит к тому народу, к какому он сам себя причисляет. Именно это может считаться основным критерием национальной принадлежности. Да. Ну и что? Я уверен, что в России довольно много людей, считающих себя украинцами, немцами, поляками, корейцами. Значит ли это, что они вправе призывать войска Кореи, Гер-

мании, Польши или Украины прийти и освободить их вместе с улицей, на которой стоит их дом? Ответов на эти вопросы мы никогда не получим. По крайней мере в категориях аристотелевой логики.

Потому что логика отменена. Потому что значительная часть общества с легкостью и облегчением впала, как в ересь, в неслыханную простоту.

Все просто, ребята. Все просто, потому что люди делятся лишь на “своих” и “чужих”.

Никто ведь не станет отрицать, что идиоты и негодяи бывают повсюду. И именно по этому пункту проходит необычайно важный социокультурный водораздел в нашем общественном сознании. И он в том, что одни к собственным идиотам и негодяям склонны относиться более снисходительно, чем к чужим, на том основании, что они “свои”, а другие — на том же основании — относятся к ним значительно строже, чем к чужим.

Простота, конечно, соблазнительна, что там говорить. Поэтому “наше — не наше” становится единственным критерием истины, добра и красоты. А потому все слова, понятия, знаки, символы, поступки, высказывания, идеи разделяются и оцениваются не по принципам “правда — неправда”, “добро —

зло”, “справедливо — несправедливо”, “хорошо — плохо”, “красиво — некрасиво”. Все эти оценочные категории разбиваются на мелкие осколки при лобовом столкновении с железобетонным, архаическим, дремучим, тупым, незыблемым принципом “наше — не наше”. Поэтому российский флаг, повешенный кем-то на административном здании в Харькове, — это “русский мир”. А флаг Украины на московской высотке — фашизм и экстремизм.

Когда кого-то бьет или даже убивает “свой”, то, скорее всего, есть за что. Если ворует свой, то он всего лишь возвращает свое. Если врет свой, то для пользы дела.

Особенность нашего времени еще и в том, что многие наши соотечественники и, казалось бы, современники, носящие европейские штаны и ботинки, непринужденно пользующиеся интернетом и пластиковыми картами, умеющие различать на вкус шотландский и ирландский виски, знающие, что означает слово “ребрендинг”, с легкостью употребляющие выражения типа “перспективный тренд” или “общественный запрос на..”, совсем перестали стесняться своей до поры до времени постыдной, но, как выясняется, глубокой и не теряю-

щей актуальности приверженности к самому отъявленному шаманизму.

Когда я с изумлением и горестью наблюдаю, как некоторые люди избавляются от привычных, веками сложившихся признаков цивилизованности с таким же облегчением и наслаждением, с каким сбрасывают с ног жмушие ботинки, я вспоминаю индийскую притчу, которую часто по разным поводам вспоминал мой старый друг-поэт.

Один человек поймал в лесу попутая, который оказался очень способным. Он очень быстро научился говорить по-человечески. Он умел изображать скрип телеги, мычание коровы, мяуканье кота, шум дождя и многое другое. Но однажды, когда к его клетке подкралась лиса и схватила его за хвост, он заорал как попутай.

Что-то в этой “простоте” лежит очень потаенное, очень темное, доречевое, дологическое и даже, похоже, домифологическое.

И многие же из них не нарочно. Многие и правда думают, будто они так думают.

И ничему они не радуются, в том числе и “обретенному” небесному Крыму. И никого они не любят, в том числе шлемоблещущего президента-осво-

бодителя. И никому они не сочувствуют, в том числе и мирным жителям Украины, попавшим в беду.

Они лишь столь же смутно, сколь и яростно ЧТО-ТО ненавидят, ЧЕГО-ТО боятся, от ЧЕГО-ТО отгораживаются, с явным облегчением скинув постыльную обузу в виде какого-никакого образования, какой-никакой языковой изощренности, какого-никакого цивилизационного опыта.

И ничего там нет, кроме клубящейся и ищущей выхода ненависти. И никакой это не “русский мир”. Это всего лишь та самая простота, о которой написал однажды один великий представитель настоящего русского мира Лев Толстой:

Между ними всегда ходили какие-нибудь неясные толки, то о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о царских листах каких-то, то о присяге Павлу Петровичу в 1797 году (про которую говорили, что тогда еще воля выходила, да господу отняли), то об имеющем через семь лет воцариться Петре Федоровиче, при котором все будет вольно и так будет просто, что ничего не будет.

“Так будет просто, что ничего не будет”. Вот именно.

РОМАН С ВРАНЬЕМ

Воры вне закона

Презрение к закону, восприятие закона как надоевшего ритуала — это у нас дело не такое уж новое и необычное. Обычное, конечно. Но в наши дни это ленивое презрение приобрело форму крайнего раздражения, граничащего с ненавистью. “Что вы пристали со своими законами! Надоели уже! Ваши законы — сплошное лицемерие, прикрывающее вашу звериную сущность. Сами знаем, что незаконно. Зато справедливо”. Так или примерно так высказываются разные люди, в том числе и вполне образованные и с виду цивилизованные.

Справедливость — вещь хорошая, кто бы спорил. А любая несправедливость ранит душу, оставляя в ней годами саднящие шрамы.

Формула “незаконно, зато справедливо” кажется убийственно бесспорной. Но лишь тем, кто неспособен понять, что закон существует как раз для того, чтобы регулировать самые различные представления самых различных людей или социальных групп о справедливости.

А потому индивидуальные представления о справедливости, заложенные в основу социального поведения, неизбежно входят в противоречие с другими представлениями о справедливости. А чем это чревато при полном или даже частичном игнорировании роли закона, объяснять не надо.

Взаимоотношения российских государственных институтов, начиная с первых лиц и кончая громокипящей, лишенной тормозных механизмов пропагандистской машиной, то есть, прямо скажем, приклатненного государства, с мировым сообществом выстраиваются примерно по той же модели, по какой выстраиваются отношения блатного мира с миром права и порядка.

“Мы тут, понимаешь, честно ворует, живем по понятиям, по справедливости то есть, а эти волки

позорные нас, таких фартовых, норовят судить по своим фраерским законам, которые они лицемерно называют «международным правом». Вертели мы это право знаете на чем?»

В официальной риторике последнего времени явственно слышатся то блатная слеза (“за что забрал, начальник, отпусти”), то блатная истерика (“держите меня четверо, чтобы я с пацанами в Варшаву и Вильнюс не заявился”). И, конечно же, непоколебимые представления о справедливости.

Там своя блатная сентиментальность и непременно “мать-старушка”. Там свои клятвы, молитвы и проклятия. Там свои несколько модифицированные “век воли не видать” и “за козла ответишь”. Там свой истерический, с разрыванием рубахи на груди, патриотизм: “Советская малина собралась на совет, советская малина врагу сказала «нет»”.

Наглядные и яркие, временами даже и талантливые образчики подобного типа сознания широко представлены в блатной лирике:

Лагерь познакомил, детка, нас с тобой,
 Прокурор нанес печаль-разлуку,
 Суд на наше счастье и покой, о Боже мой!
 Поднял окровавленную руку.

Но в каком бы ни был я краю —
Обещаю бить легавых крепко,
Потому что волю я люблю — о да, люблю!..

Ну, и так далее.

Вот и глава российского внешнеполитического ведомства — в полном соответствии с этим же типом сознания — сказал недавно: “Не было бы Крыма, Запад придумал бы что-нибудь еще”.

Хорошо сказал, убедительно, по-моему.

Вот если бы мы, допустим, не подрезали чемодан на вокзале, легавые бы все равно что-нибудь нам пришили. Ну, просто потому, что они нас за что-то не любят. Ну, чего-то мы им как-то не нравимся. Они все почему-то норовят на наше счастье и покой поднять свою окровавленную руку. Так что лучше уж чемоданчик-то все-таки взять на всякий случай. А если подфартит, то и два.

Пропагандистская кухня

Пламенные творцы массовых галлюцинаций и их многочисленные жертвы уже практически слились в общем оргиастическом восторге, потому что эти самые творцы, как это часто бывает с людьми на вредных производствах, и сами как следует надышались, нанюхались и наглотались отходов собственной деятельности.

В чем их слабость, понятно. Никто из них, если дело дойдет до нормального человеческого разговора с применением человеческих категорий и терми-

нов и с приложением самой элементарной логики, этого разговора не выдержит и трех минут.

Но это и их сила. Потому что никакому нормальному человеку не придет в голову спорить с тем, кому достоверно, из самых первых рук известно о том, например, что на поверхности Марса наряду с ядовитыми грибами растут также и съедобные.

Можно ли спорить с постоянно возбужденными людьми, которые вдруг обратятся к тебе с гневным риторическим вопросом: почему же ты, если ты такой умный и порядочный, не возвышаешь свой либеральный голос против систематического похищения наших людей кровожадными пришельцами из соседней галактики с целью разобрать их на отдельные органы? Как ответить на такой вопрос? Никак.

Ничуть не в большей степени приближены к реальной жизни и телевизионные изобретения про “киевскую фашистскую хунту” и тем более про ее “друзей”. Вы что, станете пытаться объяснить, что нельзя быть другом или недругом того, чего не существует на белом свете? Или приметесь в сто пятнадцатый раз, напрягая остатки терпения, что-нибудь рассказывать об общепринятых значениях слов

“хунта” и “фашизм”? Или, может быть, вам придет в голову доказывать, что бывают в жизни случаи, когда человек высказывает суждения, расходящиеся с генеральной линией, не за деньги заокеанских хозяев, а совершенно бесплатно? Все равно не поверят. Потому что свято убеждены, что все те, кого не купили они, куплены другими.

Конечно, не придет такое в голову. Если, конечно, вам не захочется показаться смешным перед самим собой. Да и с какой стати нормальный человек станет добровольно переходить на этот даже не нулевой, а, прямо скажем, минусовый уровень общения. Что мы, Орфеи, что ли?

Да если даже и захочется, все равно не получится. На этом своем уровне они сильнее и увереннее, потому что никогда ни в чем не сомневаются, а вязкую глину под ногами воспринимают как твердую утоптанную почву. Не то что мы с вами.

Уровень аргументации, общая тональность и даже сами сюжеты всего того, чем занимается нынешняя пропагандистская машина, мне знакомы буквально с детства. Только в те времена все это дело широко бытовало и цвело не менее пышным, чем теперь, цветом не в телевизоре и не в газете, а на

коммунальных кухнях, на скамеечках около подъезда и в очередях перед кабинетами районных поликлиник.

Тогдашнему радио-телевидению — надо отдать ему должное — при всей его железобетонной тупости и неуклюжести все-таки не приходило в голову рассказывать ко всему готовым клиентам о том, например, что в Прибалтике (то есть в Прибалтике вообще, а не в какой-нибудь, скажем, Литве или Эстонии — до таких геополитических тонкостей дело не доходило) вас непременно, исключительно по злобе, отравят в ресторане, что в Грузии заезжих блондинок с особым цинизмом насилуют прямо в аэропорту и что американцы под видом туристов ходят по московским улицам и с помощью незаметных инъекций заражают ни в чем не повинных советских граждан черной оспой или как минимум гонконгским гриппом со смертельными осложнениями.

По радио или по телевизору я ни о чем таком не слышал, не то что в наши дни. А слышал я это и многое другое — не менее остросюжетное — от глубоко и надежно информированной соседки Клавдии Николаевны, женщины с незаконченным средним об-

разованием, никогда не отходившей от дома дальше рынка и поликлиники, но, несмотря на это, обладавшей развитым воображением и яркой убедительной речью.

С ней, кстати, тоже никто не спорил, а всего лишь вечерами за чаем со вкусом пересказывали друг другу ее захватывающие истории.

Сантехник Потапов

О б универсальном значении феномена игры в человеческой цивилизации сказано много. Вот и в наши дни категория игры становится одной из ключевых, представ в этот раз в карикатурно-зловещем облике.

На сцену общественной и политической жизни шумной гурьбой вывалилась орава игроков. Точнее — ролеви́ков-реконструкторов.

Ничего дурного в ролевых играх нет. По крайней мере до того момента, пока ролевики не выходят из игры, пока они, заигравшись, не начинают

путать территорию игры с территорией реальной жизни. И тогда неизбежно получается то, что наиболее емко выражено в знаменитом чернушном двустишии: “Дети в подвале играли в гестапо. Умер от пыток сантехник Потапов”. Получается примерно так же — с той лишь разницей, что “игра в гестапо” разворачивается в пространстве, сильно превосходящем пространство отдельно взятого подвала, а результаты игры не ограничиваются, мягко говоря, одним лишь невезучим сантехником.

Примерно то же происходит иногда, когда приемы и методы искусства начинают широко использоваться в общественной практике. Или когда вдруг кто-нибудь начинает всерьез верить в то, что он рожден, чтобы сказку сделать былью. И в этих случаях былью почему-то становятся лишь сказки с плохим концом. Или, если быть точнее, они обрываются на том месте, где Кошей похищает красавицу или где Баба-яга, приговаривая: “Покатаюся, поваляюся”, успешно поглощает несчастного Иванушку.

Не потому ли так получается, что претворением сказки в быль занимаются, как правило, не Иваны-царевичи и не Василисы Премудрые, а как раз Кощей и Змеи Горынычи?

Люди художественных профессий тоже довольно часто играют в социально-культурные игры, выходящие за рамки их собственно художественной деятельности. Они примеряют на себя то роль аристократа-бретера, то роль простого парня от сохи, то роль рассеянно-возвышенного чудака, не знающего, где поставить подпись в гонорарной ведомости, то роль мятежного косматого анархиста-одиночки, то роль brutального и неулыбчивого, пропахшего порохом и пьянящим, отпугивающим нервных, не в меру чувствительных натур здоровым мужским потом радетеля за “Великий Имперский Проект”.

Эти последние, выказывая подростковые по сути представления о мужественности, любят говорить о “настоящих мужиках”, о том, что у них в жилах “кровь, а не вода”, о том, что “настоящий художник тот, у кого есть яйца”, при этом факт наличия яиц непременно связывая с постоянной готовностью к насилию.

Понятно, что художественные натуры — люди часто социально безответственные. Им необходимо обращать на себя общественное внимание. Ничего противоестественного я в этом не вижу. Человек любого рода занятий, предполагающего публичность,

так или иначе заинтересован в общественном внимании. Но почему именно ТАК?

Вопрос даже не в том, врут они сознательно или им просто уютно принимать на веру всю телевизионную околесицу. Вопрос не в том, насколько соответствует реальности все то, что они ретранслируют или выдумывают сами. Вопрос вот в чем: почему им так хочется, чтобы было именно так?

Некоторых из этих трагических теноров утраченной, преданной и проданной великой империи я знаю лично. С некоторыми иногда пересекаюсь на книжных ярмарках или других литературных сборищах в разных европейских городах. Люди как люди. Ничего нет в них особенно инфернального, если, конечно, отвлечься от диковинных и диковатых рассуждений во время гостиничных завтраков. А так — вполне, ничего особенного.

Я понял, что никакого особого противоречия между их дискурсивным и бытовым поведением нет. Дело в том, что праведная, горящая ровным сухим пламенем ксенофобская риторика этих героев не вполне от мира сего. Она слишком возвышенна, чтобы, например, заставить их с мелочной мстительностью пренебрегать земными плодами безду-

ховного мира, стремительно катящегося в черную бездну. Или, говоря чуть проще, высокое презрение к базовым ценностям цивилизованного мира (разумеется, к “так называемым ценностям так называемого цивилизованного”) ни в малейшей мере не препятствует деловитому и придирчивому отношению к условиям договоров на переводы их творений и азартному шопингу.

Понятно, что артист всегда немножко симулянт. И в этом нет ничего предосудительного. Вопрос лишь в том, до какой степени “немножко”.

Какие роли кому по душе, а от каких кого тошнит (иногда в самом буквальном смысле) — дело индивидуального вкуса и сложившихся на базе опыта представлений о прекрасном, о смехотворном, об омерзительном. И это все не такая большая беда, пока маска и театральная прикид играющего свою или чужую роль не начинают прирастать к коже, пока он не покидает сцену и не начинает реализовывать свои игры на, так сказать, свежем воздухе, на историческом пленэре, пока он не начинает играть “на разрыв аорты”. И ладно бы еще своей.

Что слышно

Бывают люди, лишенные музыкального слуха. И они в этом не виноваты. Но среди них есть такие, которые очень любят петь. А другие — которые тоже без музыкального слуха — готовы их слушать. Тех и других объединяет уверенность в том, что пение тем лучше, чем оно громче.

Про человека, фальшивящего в процессе пения, говорят, что он “врет”. Врущие — во всех смыслах этого слова — всегда вольно или невольно пытаются компенсировать свое очевидное вранье

форсированной громкостью и взвинченностью интонации.

Чем меньше смысла, тем громче и агрессивнее. Чем меньше внутреннего ощущения собственной правоты, тем больше напора, нахрапа, блатной слезы, размахивания руками, курсива, жирного шрифта и прописных букв.

При этом уровень телевизионных или газетно-журнальных разговоров на общественные, культурные, да и все прочие темы в большинстве случаев уже таков, что на этом фоне любой, кто помнит, сколько строчек в онегинской строфе, смотрится полным академиком.

Да и зачем все это? Надо просто погромче и почаще произносить ключевые слова, нажимать на проверенные временем кнопки, включающие в людей все потаенное, заветное, темное и мутное, но мучительно сладкое и, главное, предельно простое, до поры до времени косметически припорошенное каким-никаким образованием, воспитанием, логикой, причинно-следственными связями, нравственными убеждениями, исторической памятью и всеми прочими происками тайных или явных враждебных сил.

И я, конечно, не один заметил, что многие из военно-патриотических мыслителей и дерзновенных лоялистов очень любят изображать из себя гонимых, из последних сил держащих круговую оборону, ведущих неравный бой с бессмысленной и беспощадной либеральной ордой. Им не очень, конечно, нравится роль кремлевских подпевал — они же интеллигентные люди, вы чего.

Им непременно необходимо ощущать себя героическим меньшинством, притом что они же в соответствии с шизофренической логикой неумимо повторяют, что их устами выражаются думы и чаяния абсолютного большинства, которое они любят называть “народом”.

Интонации их деклараций примерно столь же надрывны и в той же мере убедительны, как и интонации тех, кто ходит по вагонам метро, рассказывая пассажирам правдивейшие истории о сгоревшем доме или об умирающем ребенке. С той, впрочем, разницей, что за спинами людей из метро не стоят наготове депутатские корпусы, армия, флот, спецслужбы, увесистые дубинки, вместительные автозаки, суды и прокуратуры.

Ну и фальшь, конечно. Чудовищная, скрежещущая, медленно вытягивающая наружу все твои кишки. Все дело, конечно, в музыкальном слухе. Вернее — в его полном отсутствии.

Нехорошо хвастаться, я знаю. Но все же скажу: у меня неплохой музыкальный слух. А один специалист утверждает, что даже и абсолютный. А с чего бы мне ему не верить — специалист все-таки. Да и не предмет это для особой гордости — это природа, никакой моей заслуги здесь нет. Вот у одного моего одноклассника, например, было три почки. Он этим и то не гордился. А тут слух. Подумаешь! К тому же и неприятностей от этого самого слуха едва ли не больше, чем радостей.

В детстве я пел в школьном хоре. А рядом со мной всегда ставили девочку Люду Земляченко. Не знаю почему. По росту, что ли. Она, видимо, была по-своему гениальной девочкой. Потому что умудрялась даже случайно не попадать ни в одну из нот. Но пела она старательно и, разумеется, очень громко.

Что можно сказать о моих страданиях?

Если существует загробная жизнь и если мне по грехам моим назначен ад, то я уже знаю, что там будет. Я буду во веки вечные стоять на вечной ска-

меечке второго ряда школьного хора, на мне будет вечный белый верх и вечный черный низ, вечный руководитель Борис Вениаминович будет вечно размахивать своими изящными вечными руками, а слева от меня будет вечно стоять и вечно петь Люда Земляченко.

На чужом веку

Из памяти психически и нравственно здорового человека выветриваются со временем детские обиды, несуразности, болевые ощущения, юношеские прыщи, муки совести, некрасивая одежда, очереди за растворимым кофе, детским питанием, женскими сапогами да и за всем остальным, социалистические обязательства, изучения материалов исторических пленумов, посвященных решениям исторических съездов. Да много чего выветривается из памяти. А если и не выветривается, то покрывается симпатичным беззлым лачком.

Вот и мне, неблагодарному, славить бы по гроб жизни товарища Сталина за мое счастливое детство. А оно ведь и правда было счастливым. По крайней мере, детство раннее, дошкольное, когда ощущение тепла и защищенности было таким, каким оно потом не было уже никогда. Когда теснота, скученность, кухонная пахучесть окружающего быта казалась большим, просторным, уютным и ароматным миром, когда тревожные родительские голоса за стеной могли означать для меня только одно: они, видимо, обсуждают, что подарить мне на день рождения. Ох, скорее бы он наступил. Целых пять дней осталось. Целых пять. И как же мучительно медленно течет время!

А они там за стеной все шепчутся и бубнят. О том, что какого-то Володю выгнали с работы и что теперь будет, неизвестно. Что вчера к Раисе Савельевне приехал ее родственник “оттуда”. Что к Боре “приходили”, но на этот раз вроде обошлось. К какому Боре? Кто приходил? Зачем? Что обошлось? Чушь какая-то! У меня день рождения через пять дней!

Только защищенность и только тепло. И что за дело мне до того, какими усилиями достигалась моя защищенность и каким горючим топилось мое теп-

ло. И что мне за дело до того, каким страхом и какими лишениями за все это платилось. Эх, если бы навсегда остаться шестилетним! Эх, если бы ничего не знать, не читать книг, не знакомиться с людьми, наделенными совсем иным опытом. Эх, как было бы хорошо, если бы не было истории. Но она есть.

Однако вопреки истории и ее безжалостным урокам в индивидуальном и общественном сознании всегда существует пресловутый “золотой век”, не выносящий даже намека на критику.

Во времена моей юности, например, золотым веком для одних, особенно для адептов “социализма с человеческим лицом”, были 20-е годы, время революционного энтузиазма и творческого подъема масс.

Для других, как, например, для меня и моего ближайшего круга, золотым веком оказался век серебряный, русский модерн, русский авангард и прочие “Бродячие собаки”. Он казался сплошь золотым, золотым целиком, включая культ распада, болезненности и смерти.

В “лихие девяностые” золотым веком стала “Россия, которую мы потеряли”. И тогда стали возникать карикатурные дворянские собрания, казачьи круги и прочие “дамы и господа” и “поручики Голицыны”.

Теперь же густо попер неприкрытый “совок”, золотые денечки, когда “нас” боялись и уважали, когда были Госплан и НКВД, когда люди честно трудились и уважали друг друга, когда пятилетку выполняли в четыре года, когда царили строгость и справедливость, когда во всю ширину аллея всесоюзных здравниц широкой дружной шеренгой вышагивали улыбочивые трудящиеся в белых крепдешиновых платьях и широких чесучовых штанах, когда в парках играли духовые оркестры, а свинарки и пастухи создавали прочные советские двуполые семьи, когда беспризорников не отдавали на растерзание мучителям-иностранцам, когда граждане дружно и дисциплинированно платили взносы в ДОСААФ и сдавали нормы ГТО, когда колхоз-миллионер подавал другим пример, когда... Ох, можно продолжать до бесконечности.

Образ золотого века и тоска по нему начинают формироваться, когда структура и фактура эпохи, ее общественные нравы и эстетические нормы являются потомку, не отягощенному историческим знанием, в виде чистого стиля. При этом обстоятельства, породившие этот стиль, игнорируются вовсе. Восприятие стиля эпохи в чистом виде есть восприя-

тие в сущности дикарское, то есть внеисторическое. Стиль порождает миф. А миф порождает светлую и теплую тоску по ушедшему и несбывшемуся.

Каждая эпоха характерна собственным стилем. Но современник этот стиль обычно не осознает, даже если, сам того не ведая, активно, а чаще пассивно участвует в его создании.

Золотой век — это не вчера, нет. Золотой век — это позавчера.

А вчера — это, как правило, “проклятое прошлое”, это годы жестокого царизма, потом — культура личности, потом — волюнтаризма, потом — застоя, потом наступили лихие 90-е с их падением нравов и грабительской приватизацией, потом... Впрочем, “потом” еще не наступило. Наступило то самое “теперь”, которое мы все заслужили.

Каким оно станет со временем, что в нем окажется “золотым”, что из него запомнится, а что забудется, мы пока не знаем. Можем только гадать. А гадать что-то не хочется. Пережить бы его сначала. Да и сделать бы хоть что-нибудь, что, глядишь, и запомнится. Ну, хотя бы постараться.

Приятных слов

Употребляемые нами слова различаются, чтоб вы знали, не по тому, соответствуют ли они своим словарным значениям, а по тому, приятны они или неприятны. Причем не столько широким слоям населения (кто их будет спрашивать?), сколько тем, кто облечен властью или же занят ее, власти, пропагандистским обеспечением.

К приятным относятся такие, например, слова и понятия, как “патриотизм”, “законность”, “международные нормы” (хотя это уже как раз под по-

дозрением, но ничего, пока сойдет), “мир” (точнее, “русский мир”), “наши традиционные ценности” (не наши никого не интересуют), “законные требования представителей власти”, “общенародное единство”, “особый путь”.

К неприятным можно отнести “фашизм”, “нацизм”, “экстремизм”, “насилие”, “полицейский произвол”, “агрессия”, “милитаризм”, “война”, “хунта”, “карательные операции”, “ценности, чуждые нашим традициям”, “однополярный мир” и “кое-кому неймется”.

Не знаю, есть ли специальные толковые словари, изданные для служебного пользования и разъясняющие, какие слова в каких значениях и, главное, в каких случаях следует употреблять. Или же следует действовать по наитию, по внутреннему патриотическому чутью, в соответствии с очередной спущенной сверху скрепой.

Впрочем, активно осуществляемая прямо на наших глазах практика словоупотребления позволяет нам самим сделать черновой набросок этого “Суверенного толкового словаря политических терминов”. Или хотя бы начать собирать для него “рабочие материалы”.

Так, например, легко понять, что законно и демократично избранные в одной соседней стране органы государственного управления следует именовать “фашистской хунтой”, из чего вполне логично вытекает, что чье-либо несогласие с подобным определением автоматически подпадает под закон о “реабилитации нацизма”. Пока понятно? Не очень? Мне тоже, честно говоря. Но это не моя и не ваша логика. Это их логика, а ее надо постараться все же понять или хотя бы обозначить ее приблизительные контуры — для облегчения работы грядущих исследователей. Ох, будет, будет что им исследовать! Даже завидно, если честно.

Но пойдем дальше.

Нетрудно также понять, что “полицейским произволом” или “карательными операциями” может называться только то, что осуществляется за границами нашего государства; внутри же могут быть только “законные действия по противодействию экстремизму и в защиту территориальной целостности”.

То, что на языке международного права всегда называлось “аннексией” (неприятное слово, согласен), не может так называться в контексте внешнеполитических проказ российского руководства. В этом

контексте это следует именовать “восстановлением исторической справедливости” — так куда приятнее.

Также можно сделать вывод, что открыто ксенофобские и просто человеконенавистнические высказывания или даже поступки, резко диссонирующие с целым букетом статей никем пока не отмененного Уголовного кодекса, должны называться “проявлением патриотических чувств” и “защитой традиционных ценностей”, а, например, хоровое и — что самое ужасное — вполне добровольное пение национального гимна на главной площади столицы соседнего государства — “проявлением пещерного национализма” и “недружественным актом”.

Казалось бы: какие могут быть возражения против закона, преследующего попытки реабилитации нацизма? В некоторых цивилизованных странах тоже есть такие законы. Нормально.

Но и тут, как обычно, особенная статья и особь статья. Поэтому все будет зависеть, разумеется, ни от какого не от закона, не от его буквы и духа, а исключительно от его толкования и, соответственно, применения.

Ну, всякие внешние атрибуты, знаки и портреты — это понятно, это как раз легко. В стране с силь-

ной и неистребимой традицией чисто языческого отношения к внешним атрибутам, знакам, символам, идолам, священным пням и прочим каменным бабам и деревянным болванам они часто служат заменой всего того, что за ними кроется.

Поэтому, например, патриотические инициативы отдельных групп молодежи по установлению этнического единообразия на некоторых отдельно взятых продовольственных рынках и овощебазах нашего отечества нацизмом никогда не назовут. Потому что какой же это нацизм? Ни одного портрета Гитлера никто не видел, а татуированные свастики на нежных юношеских торсах видны только в бане и военкомате.

А вот чахлые прогулки немощных стариков в некоторых городах стран Балтии (действительно, малосимпатичные) означают, разумеется, что там “нацизм поднимает голову”.

Любопытно, хотя и более или менее предсказуемо, как именно будет здесь применяться закон о “реабилитации”. Интересно, хотя и более или менее понятно, что они тут назначат “нацизмом”. Да и уже..

Что будет считаться реабилитацией? Публикация фотографии Молотова, жмущего руку Риббентропу?

Бестактное и русофобское по сути подчеркивание значения ленд-лиза? Упоминание об антигитлеровской коалиции, в которую входил СССР? Provokационные разговоры о роли союзников во Второй мировой войне? Да и сама война, кстати, — с чего это она “Вторая мировая”, если она “Великая Отечественная”? Это во всем мире она мировая, а у нас нет.

Все это придумано, конечно, не сегодня. И даже не вчера. Это давняя история и давняя традиция. Можно даже сказать, традиционная ценность. Самый яркий, запомнившийся нескольким поколениям образец — это про “наших разведчиков” и “иностранных шпионов”. Но не только. Государства, существовавшие на бабки ЦК КПСС и напиханные советским оружием, назывались “наши друзья”. А друзья, например, Америки назывались — как и теперь, между прочим, — “марионетками”.

В соответствии и с этим “суверенным” толковым словарем совершенно логичными выглядят рассуждения о том, что мировое сообщество (США и его марионетки) ведет разнузданную компанию против России, ведущей самостоятельную и, главное, эффективную внешнюю и внутреннюю

политику, что, конечно же, встало поперек горла... ну, и так далее.

Кроме бинарной оппозиции “приятное — неприятное”, весьма важной для понимания многих явлений представляется оппозиция “наше — не наше”. Точнее говоря, представление, согласно которому все происходящее в мире происходит либо “за нас”, либо “против нас”. Объяснять, что в мире кроме “нас” происходит, вообще-то говоря, очень много всего важного, интересного, тревожного и насущного, довольно бессмысленно.

Такого рода болезненный эгоцентризм бывает свойственен детям. Но и не только. Некоторым взрослым тоже. Была, например, у нас во времена моего коммунального детства такая Вера Сергеевна, соседка. Она была уверена, что все вокруг непременно имело какое-то отношение непосредственно к ней. Например, она, помню, говорила: “Этот Славка с верхнего этажа нарочно заводит такую громкую музыку, чтобы я не смогла заснуть. Зачем? Ну как зачем? Это он завидует, что я купила новый ковер”.

Откуда бы этому ни о чем не подозревавшему Славке знать что-либо про ее новый ковер, да и про нее саму, никто ее даже не спрашивал. Да и зачем?

Метафора всмятку

Поверьте: ни за что не стал бы вступать на эту скользкую дорожку, от вековой заезженности отполированную до зеркального блеска. Никогда не стал бы даже на минутку заглядывать в это надышанное многими поколениями сангвинических пошляков пространство, где постоянно звучит гулкое эхо петушиного подросткового гогота. Этот радостный идиотский гогот всякий раз звучит в наших ушах, когда мы слышим что-либо шутейное, основанное на мерцании двух значений слова “яйца”. Впрочем, игровые манипуля-

ции этим словом даже и в одном из его значений — понятно в каком — тоже воздуха не озонируют.

Ни за что бы не стал, честное слово.

Но кто-то из моих друзей зачем-то прислал мне ссылку на фейсбучные размышления одного современного писателя (довольно известного, кстати), в которых он, писатель, среди прочего сообщил, что склонен делить писателей на тех, кто “с яйцами”, и тех, кто без.

Понятно, что под “яйцами” в данном случае понимается не анатомическая деталь, присущая самцу *Homo sapiens*. Понятно, что в данном случае речь идет о метафоре. Причем о метафоре настолько затертой и стилистически скомпрометированной, что даже удивительно, что ее на голубом глазу берет на вооружение не кто-нибудь, а именно литератор, которому чувство слова, чувство языка и стиля вроде как положены по штату. Но нет. Яйца.

Когда про писателя или художника говорят: “Да, он глуповат, пошловат и агрессивно невежественен, но талантлив, черт!”, или: “Он, конечно, как человек — говно, но какие зато рассказы пишет!”, или: “Его книги умнее его”, я не очень это понимаю. Когда примерно такое же говорят про оперного

певца, спортсмена, балерину, краснодеревщика или циркового атлета, жонглирующего гириями, я понимаю. А про писателя — нет.

Потому что искусства делятся на “исполнительские” и “авторские”.

Писатель — это автор. А стало быть, в любом своем публичном высказывании, в любом культурном или социальном жесте он выступает не только как частное лицо, но и как автор, несущий на себе дополнительный груз ответственности за слова, жесты и поступки.

Изобразительным даром далеко не исчерпывается все то, что в совокупности можно обозначить как “авторство”.

Писатель не только изготовитель складных текстов, он и изготовитель собственной биографии, творимой им в соавторстве с объективными или субъективными жизненными и историческими обстоятельствами.

Мне кажется неполным, неокончательным тот авторский текст — по крайней мере текст того автора, кто существует здесь и сейчас, кто не поставил еще последнюю точку в своей земной биографии, — тот текст, который выдернут из общего контекста

социального или эстетического авторского поведения, то есть из всего того, что кратко можно обозначить словом “репутация”.

Я знаю, что на этот счет существуют различные мнения, и я ничуть не отрицаю их право на существование, но мое — именно такое.

И яйца, пусть даже и символические, тут, мягко говоря, не всегда играют решающую роль. А если и играют, то чаще неприглядную.

Ничуть не отрицая несомненной репродуктивной роли гениталий, я все же вынужден признать, что и в искусстве, и в повседневном социальном существовании мне как-то больше интересны и симпатичны авторы, чьи явленные миру достоинства располагаются выше пояса. Конструктивная роль головы или, допустим, сердца мне кажется все же важнее. Впрочем, не настаиваю — это опять же дело вкуса.

Но миф и эстетика пресловутых яиц как универсального признака всяческой “крутизны” тем не менее живут и о себе всячески напоминают. А различные крутые пацаны неумоимо продолжают награждать друг друга символическими яйцами. Первой степени, второй, третьей...

Особенно, кстати, трогательно, что и функционеры, и рядовые члены “партии яиц” иногда любят наделять яйцами даже тех, кому они вовсе не полагаются. Женщин, например. “Эта баба — с яйцами!” — восхищенно говорят они, в своем эгоцентрическом самозабвении совершенно не учитывая того, что далеко не каждой женщине так уж лестно, когда ей — пусть даже и метафорически — приписываются признаки противоположного пола.

Это, впрочем, понятно. Архаический культ “яиц” базируется на том, что “кому же неохота быть мужиком”. Психоаналитическая подоплека подобного рода умственных построений слишком очевидна, чтобы на ней останавливать внимание.

И ничего с годами особенно не меняется. Меняются лишь исторические нюансы, совокупно составляющие критерии и признаки яйценоскости. Но яйца-то все те же. Что в фас, что в профиль.

Поэтому более чем понятно, откуда берется постоянная внутренняя потребность доказывать собственную состоятельность посредством демонстрации символических клыков, рогов, когтей. Ну и яиц, конечно.

Чего требовать от впечатлительных, взыскующих крутизны писателей, если вон и сам президент, чье публичное поведение сконцентрировано на неприменном стремлении доказать миру наличие у него этих самых атрибутов, неустанно сует их под нос каждому встречному.

Апофеоз “мушINSTVA”, мачизма, пацанства — это, конечно, всяческая “военность” и все ее внешние атрибуты. Все то, что так волнует иногда изуренного гормональными кипениями подростка.

И, разумеется, понятно, почему эта застарелая и незалеченная метафора плодоносной крутизны не может не являться миру в виде различных вторичных признаков наподобие блестящих и позвякивающих при ходьбе висюлек, военизированных побрякушек, пятнистых штанов с кучей карманов, инфернальных наколочек на предплечьях. Все эти цацки — в сущности те же самые яйца, точнее, их протезы.

Потому и вполне понятна тяга яйцепоклонников к заигравшимся в кровавые “мужские” игры “донецким, горячим и адским” фантастам-ролевикам, дорвавшимся, наконец, до “настоящего дела”.

И понятно, почему тот, кто “с яйцами”, любит взбодрить себя визитом на ту или иную войнушку,

чтобы, изнывая от сладкой девичьей (несмотря на предполагаемые яйца) истомы, поглазеть в оптический прицел, сделать ритуальный, хорошо если холостой, пиф-паф и сфоткаться с каким-нибудь адреналиновым пороховым пацаном с телефонным погонялом, который, разумеется, тоже с яйцами — да еще с какими — и у которого, конечно же, “в жилах кровь, а не водица”.

Кровь, конечно! Где “яйца”, там и кровь — куда ж без нее...

Когда-то давно я участвовал в большом поэтическом вечере с последующей дискуссией. Мне там запомнилась одна дама-критикесса. “Мне в этих стихах не хватает подлинной страсти. Боли не хватает мне! Мне не хватает судьбы! — слегка комически тряся кудряшками неисправимой отличницы и воинственно сверкая очками с толстыми линзами, восклицала дама. — Смотрите! Ведь как было раньше! Один стрелялся на дуэли и погиб. Другой — то же самое. Третий застрелился. Четвертый повесился! Пятого упекли в лагерь. Шестой... Ну, в общем, тоже что-то такое... Это была поэзия, оплаченная кровью. Мне в нынешней поэзии не хватает крови!” — “Чужой?” — не выдержав

напора салонной кровожадности, спросил я. Она страшно обиделась и закричала: “А вот не надо вот этого вот! Не надо!”

Ну, не надо так не надо. Обидеть никого не хотел, правда. Само как-то вырвалось.

Минкульт предков

Кто-то из высоких начальников, приставленных к надзору за культурой, высказался в том духе, что “мы будем поддерживать только традиционное искусство”.

Ключевым словом здесь, конечно, является не “мы” — это более или менее понятно. И не “искусство”. Хотя в контексте этого и подобного этому высказываний это вроде бы самоочевидное понятие нуждается в разъяснении, что именно эти самые “мы” понимают под искусством. Главным и очень грозным словом здесь является, мне кажется, слово “только”.

Но не только “только”. Понятие “традиционное” вызывает на самом деле больше всего вопросов.

Дома у меня на видном месте стоит среди прочих одна книжка. Когда-то я зачитывал и залистывал ее до полной растрепанности. Она и правда очень интересная, эта книжка. Книжка искусствоведческая. Сборник статей. И очень много в ней чудесных иллюстраций. Называется она “Первобытное и традиционное искусство”.

Вот в ней, в этой книжке, точно понятно, что такое “традиционное искусство” и чем оно отличается от “первобытного”. Если в двух словах, то первобытное искусство — это искусство того периода, когда человечество жило в пещерах, охотилось посредством копий с каменными наконечниками и добывало огонь при помощи трения. Объектами изучения для специалистов по первобытному искусству стали сохранившиеся к нашему времени наскальные изображения, тотемные изваяния, орнаменты и прочее.

А есть еще и “традиционное искусство”, то есть искусство, способы бытования, мотивы, образы и стиль которого существуют и по сей день, сохранившись и практически не изменившись с перво-

бытных времен. Такое искусство бытует в некоторых существующих и сегодня обществах, которые когда-то, до торжества политической корректности, назывались “дикарскими”, а потом стали называться как раз “традиционными”. Такое искусство, действительно захватывающе интересное, существует в своем первозданном виде у австралийских аборигенов, у коренных жителей бассейна Амазонки, Центральной Африки, Лапландии, Новой Гвинеи, Чукотки... И это действительно потрясающе интересное искусство, которое время от времени удивительным образом перекликается с искусством современным, то есть “нетрадиционным”. И не только перекликается. Многие художники в поисках обновления художественных средств вдохновлялись и продолжают вдохновляться идеями, формами и образами именно традиционного искусства.

Но ведь вряд “они” имеют в виду именно это. Тем более “только” это. Тогда что? Кто-нибудь из них способен внятно сформулировать свое понимание “традиционности”? А пока они будут думать (и, уверен, не придумают ничего, кроме какой-нибудь очередной колхозной чуши вроде того, что “традиционное искусство — это то самое, целью

и задачей которого является формирование и развитие патриотических чувств”), я скажу вот что.

Если и можно говорить о “традиционности” европейской культуры — а русская культура, безусловно, является частью европейской, — то эту традицию можно кратко и схематично обозначить как пучок различных, то возникающих, то на время исчезающих, то прячущихся в тень, то ярко освещенных традиций, иногда разнонаправленных, иногда вступающих друг с другом в диалог, иногда враждующих друг с другом, иногда заимствующих друг у друга идеи, черты и особые приметы.

Если и можно говорить о какой-то традиции в единственном числе, то это традиция постоянного обновления, традиция постоянного и напряженного выяснения отношений с множеством различных традиций.

А вот эти самые “мы”, которые что-то собираются поддерживать — причем “только”, — а что-то нет, видимо, полагают, что они в силу своего служебного положения вправе назначать ту или иную традицию самой традиционной, исходя лишь из собственных вкусов, собственного эстетического опыта и в меру собственной образованности.

Но ведь и не они первые, мягко говоря. В советские годы тоже была “традиционность”. И эта традиционность тоже не падала с неба, а диктовалась исключительно убогими провинциальными вкусами и предпочтениями тогдашних недоучек из партийного руководства.

В те годы традиционным считалось реалистическое искусство. Хотя и оно не было, прямо скажем, первобытного происхождения. Хотя и оно когда-то, в эпоху своего становления, тоже было новаторским, дерзко колеблющим устои тогдашней “традиции”. Но, будучи объявлено и назначено традиционным, причем единственно традиционным, оно со временем превратилось не только в унылый отстой, не только в зевотную “школьную программу”, но и в палку с ржавыми гвоздями для всех тех, кто в ту или другую сторону отклонялся от магистрального пути советского искусства.

А вот что у этих, у нынешних, будет считаться “традиционным”, даже не хочется думать.

Придворные теоретики советского времени придумали когда-то “социалистический реализм”, назвав его “творческим методом”. Суть этого метода сводилась к тому, что жизнь должна была изобра-

жаться не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть. А точнее — такой, какой ее хотело видеть начальство.

Эти, видимо, придумают что-нибудь в этом роде. Придумают какую-нибудь худосочную “традицию”, какой-нибудь ублюдочный “творческий метод” и, возможно, даже как-нибудь его и назовут. Ну, например, “патриотический маньеризм”, где в одну рыхлую неопрятную кучу будут свалены разрозненные, с трудом различимые признаки множества стилей, культурных эпох, идеологических штампов и псевдоисторических мифов. Ну чем плохо? Чем не “традиционное искусство”?

Впрочем, зачем нам-то об этом думать? Это все их проблемы. У нас, художников, артистов, музыкантов, теоретиков, критиков, писателей букв, слава богу, своих дел хватает. Куда важнее и интереснее, чем пристально следить за руками и, не дай бог, мозговыми процессами этой начальственной публики, самим решать, самим думать о том, что такое искусство, что такое традиция, что и как с ними делать и в какую сторону идти. Всем вместе и каждому по отдельности. Где они, где мы...

Сцены из нынешних времен

Я привык не любить театр. По многим причинам. И в разные годы — по разным. Сначала, то есть в детстве, — почти на бессознательном уровне. Театр, начинающийся с вешалки, а заканчивающийся пропажей галош и резью в животе от чрезмерного и торопливого употребления лимонада, театр, где надо было сидеть смиренно и глядеть прямо перед собой, где нельзя было пошептаться с соседом и вволю поржать над чьим-то криво надетым париком и плохо приклеенной бородой, где тебе все время посред-

ством великого искусства показывали, что правильно, а что неправильно, где нудное и неубедительное добро все время побеждало веселое и шкодливое зло, казался мне почти такой же репрессивной машиной, как и школа. Ну, разве что к доске там тебя не вызовут и буфет побогаче.

Это смутное, тянущееся из детства, не всегда объяснимое, но при этом вполне отчетливое раздражение чуть позже стало распространяться и на околотеатральную среду и атмосферу. Меня — скорее всего, несправедливо — стали раздражать театралы и особенно почему-то театралки. Меня раздражал мещанский культ актеров и актрис. Словом, не любил “этот ваш театр”, и все тут.

Потом, когда я и сам занялся искусством, это смутное раздражение оформилось в некоторую систему. Театр стал восприниматься мною в эстетическом смысле как нечто жутко отсталое, питающееся позавчерашними — в лучшем случае — художественными идеями.

И не только мною, разумеется. Даже и мои знакомые театроведы всегда чуть-чуть стеснялись того, что они в силу приобретенных знаний занимались именно театром. И они всегда искали в театраль-

ном искусстве что-нибудь такое, что было бы наименее “театральным”, где было поменьше “театра”, а побольше чего-то того, что за пределы театра выходило.

“Местом силы”, привлекавшим особое внимание не только публики, но и, разумеется, охранителей-запретителей, до 60-х годов была литература, и в особенности поэзия.

С 60-х годов и до недавнего времени это было изобразительное искусство, общественные события вокруг которого начались с хрущевского разгрома выставки в Манеже, а закончились “Бульдозерной выставкой” 74-го года. Боже, сколько же было карикатур и пародий на всяческий “абстракционизм”! С каким же фосфорическим блеском в глазах камлали разные шаманы-лекторы об идеологических диверсиях империалистического мира, с помощью нереалистического искусства разъедающего и калечащего души нашей не в меру доверчивой молодежи.

Доставалось и театру, разумеется. Особенно в тех случаях, когда начальство подозревало его в недостаточной почтительности по отношению к “классическому наследию”.

Но именно изобразительное искусство до недавнего времени воспринималось как зона свободы. Воспринималось как искусство действительно современное, в силу своей специфики в наибольшей степени приближенное к интернациональному художественному контексту. Именно оно служило лабораторией новых художественных идей и новых жанров, постепенно проникающих и в иные виды искусства — в музыку, в поэзию. Чуть позже — и в театр.

В наши дни необычайно актуальным и общественно значимым искусством стал именно театр. И это ощущение базируется не только на, так сказать, позитивных зрительских впечатлениях. Но и на негативных — тоже.

Все эти недавние паскудные события в “области оперы и балета” свидетельствуют прежде всего о том, что театральное искусство стало по-настоящему модным, общественно значимым и идеепорождающим явлением.

Театр для очень многих — это “зона отдыха”. Ну, что-то вроде пляжа с шашлыками. Ну хорошо, слегка преувеличиваю. Все-таки разные вещи: собираясь в театр, наряжаются, а на пляже раздеваются.

Такой зритель оскорбляется не потому, что его чувства оскорблены, а потому, что они задеты. Он возмущается. Он говорит: “Мы тут с супругой сходили в театр, чтобы отдохнуть, а нам тут вон чего показывают. Верните деньги за билет. Или нет, денег не надо. Лучше привлечите режиссера к уголовной ответственности”.

Искусство-то, в общем, и существует в том числе для того, чтобы именно задевать чувства. Об этом знает автор, художник, артист. И об этом не мешало бы знать зрителю, читателю, слушателю.

Можно сказать, что новосибирскому “Тангейзеру” повезло. Нет, я не забыл слово “повезло” оформить ироническими кавычками. Ему действительно повезло оказаться в центре культурной жизни нашего отечества. Причем, как мы знаем, это произошло не только благодаря усилиям постановщиков и артистов.

Но почему все же опера? Специфическое, казалось бы, совсем не массовое искусство, искусство для любителей? Почему именно опера, которую любят и слушают немногие, а возмущаются ею все кому не лень?

В годы торжества сталинского имперского стиля опера и балет стали — ну, чтобы все как при царе —

искусствами титульными, державными, одетыми в багрец и золото. Туда, преодолевая смертельную зевоту, ходили “руководители партии и правительства”, туда водили они “высоких гостей” из зарубежных стран. Поэтому понятно, что и оперный репертуар, и оперная стилистика всегда были под пристальным отеческим присмотром. Шаг влево или шаг вправо приравнялись к вредительству. Поэтому время от времени происходили такие исторические события, как, например, печально известная статья “Сумбур вместо музыки” или постановление об опере “Великая дружба”.

Но нынешнее-то начальство совсем не по этому делу. Титульным искусством для них стала самая обычная попса, то есть та специфическая эстетика, на стилистических и этических категориях которой сформировались их художественный вкус и стиль социального поведения. Им, в отличие от их советских предшественников, уже совсем ни к чему прикидываться опероманами. Их поведенческое бесстыдство и стилистическое убожество стали вполне открытыми и даже демонстративными.

Именно попса теперь — главное государственное искусство. А причудливое, хотя и вполне есте-

ственное сочетание дворовой прибалтненности с казенным патриотизмом уже давно и вполне исчерпывающе было явлено в старой пародийной песенке, где пелось о том, как “советская малина собралась на совет, советская малина врагу сказала нет”. Вот только никакой уже пародии. Все всерьез.

Сейчас-то почему опера? Почему вдруг взыграли “религиозные чувства” граждан, которые в своей массе примерно так же близки к оперному искусству, как, допустим, к молекулярной генетике или сравнительной лингвистике?

Тут можно фантазировать. Можно, например, предположить, что церковное начальство в лице светской оперы, тем более оперы остро современной, тем более оперы успешной, увидело серьезного конкурента церковной службе, которая для религиозного человека наполнена сакральным смыслом, а для нерелигиозного является чем-то вроде “византийской оперы”. Можно также предположить, что ощущение этой конкуренции необычайно усиливается опошленной до тошноты, но до сих пор упорно воспроизводимой в публичном пространстве метафорой “театр — это храм”.

Но главное, мне кажется, в том, что мракобесы всех времен и народов, хотя, они, конечно, тупы и невежественны, всегда инстинктивно, звериным чутьем точно угадывают, откуда может забить фонтан оскорбительной для них свободной мысли и невыносимой им современности.

Роман с враньем

Когда наблюдаешь — пусть даже не очень пристально и не с близкого расстояния — за кипучей деятельностью наших спецпропагандистов, можно заметить вот что интересное.

С одной стороны, с самых высоких трибун все время говорится о том, что мы ни с кем не воюем и даже вовсе не собираемся, что никакой войны, упаси боже, нет и быть не может. Что в соседней стране воюют кто угодно и с кем угодно, а мы-то тут при чем, вы чо ваще!

А из телевизора и из газет льется не просто пропаганда, а по всем признакам — пропаганда военного времени. Все время кажется, что зловерные американские бандеры уже здесь, уже буквально у ворот — то ли у Сретенских, то ли у Никитских.

А на войне как на войне. И поэтому говорить надо много, громко, быстро, не задумываясь ни над правдоподобием, ни над порядком слов в предложении.

Надо не доказывать и не убеждать. Надо *внушать*. Всеми доступными средствами.

Кроме штатных, размахивающих руками, выпучивающих глаза и произносящих первые пришедшие им на ум слова, но с непременно завывающими интонациями шарлатанов-гипнотизеров, подобных тем, кто когда-то не без успеха гастролировал по санаториям и домам отдыха безразмерного отечества, на сцену повыпускали заплесневелых коверных из совково-националистического запасника, а также заполошных, окончательно свихнувшихся на бесплодных поисках имперской Атлантиды литераторов, умеющих — надо отдать им должное — довольно цветисто пересказывать содержание своих красочных галлюцинаций и могущих представить

несомненный интерес и любопытный материал для специалистов довольно узкого профиля — нет, не для литературоведов, для других.

Уже теперь не только от трясущихся в пароксизме геополитического экстаза фриков, но и от уважаемых с виду господ политиков-аналитиков-экспертов с вальяжными интонациями, неторопливой бархатистой речью и краплеными учеными степенями в карманах все чаще и чаще слышатся слова “магический”, “мистический”, “сакральный”.

Слова вообще-то удобные, что и говорить. Удобные прежде всего тем, что они абсолютно освобождают говорящего от какой-никакой логики и тем более от интеллектуальной и моральной ответственности.

В этом дискурсе явно заправляет какая-то коллективная Блаватская.

Когда натыкаешься где-нибудь на этот поперший косяком галлюцинаторный оккультизм, невольно спрашиваешь себя: “Это они, что ли, у нас теперь непримиримые борцы с нацизмом?” Ну-ну... Много же они, видать, знают о национал-социализме и о его “духовных скрепах”, если в своей речевой практике сами вовсю пользуются ими так же неприужденно, как, например, зубочисткой.

Что они пропагандируют, яростно плюясь во все стороны такими звонкими словами, как “фашизм” и “хунта”, и прочими понятиями, жульнически прихваченными из совершенно другой исторической и географической реальности? Какие идеалы или хотя бы идеи? Что, кроме ненависти? Кроме тягостных грез? Кроме расцветающего, как яблони и груши, пузырящегося, искрящегося, беспокойного идиотизма?

О явлениях и проблемах современного цивилизованного мира они рассказывают примерно так же, как во времена милого их сердцу ГУЛАГа кто-нибудь из “политических” пересказывал блатарям, соседям по бараку, произведения мировой классики. За пайку, разумеется, — не из любви же к искусству. Этот жанр, описанный во множестве воспоминаний, назывался “тискать роман”. Говорят, были когда-то поистине выдающиеся мастера этого дела.

Вот и наши бойцы пропагандистского фронта без усталости “тискают” были и небылицы из загадочной и неведомой, как Лукоморье, жизни. На языке и в нравственно-эстетических категориях, хорошо понятных их целевой аудитории.

Любопытно еще и вот что.

Приблизительно таким же приемом пользуются иногда режиссеры современного театра.

Впрочем, тут есть ряд существенных различий. И, пожалуй, главное из них — это различие именно целевых аудиторий.

Театральный спектакль, в котором вольным образом препарируется классический текст, адресован зрителю, которому этот самый классический текст не просто знаком, а знаком очень хорошо. А потому своенравная его интерпретация и его “канонический” вариант находятся друг с другом в состоянии постоянного и — в случаях режиссерской удачи — напряженного и увлекательного диалога.

А все эти “культурные” чиновники и прочие страдалцы по поводу “надругательств над классическим наследием” либо сами не слишком твердо помнят, чем там все-таки закончился “Гамлет” или кто кого в результате застрелил в “Трех сестрах”, либо уверены, что этого не знают все остальные.

Адресат же телевизионного брехуна простодушен и девственен, как коренной житель острова Пасхи, подозрителен и напряжен, как бабушка, проводящая дни на скамейке около подъезда, и бдите-

лен, как легендарный пес легендарного пограничника Карацупы.

Что именно впихивают они коленкой в душу своего адресата? Прежде всего — ярость.

Ярость, кажущаяся нормальному человеку неадекватной, ярость по поводу иного мнения, ярость по поводу полых знаков, ничем не обеспеченных символов, флажков, ленточек, монументов, портретов, ярость по поводу чьего-то даже осторожного сомнения в абсолютной истинности наспех сляпанной картины мира — это ярость наркомана, которого пытаются лишить заветной дозы.

К массовой подсадке людей на эту подлую убийственную иглу в значительной мере причастны телевизионные и газетные спецпропагандисты. И отвечать за это им — наряду с их “работодателями” — рано или поздно придется.

Ни на чьи головы не призываю я кары небесные — я не владею этим языком. Я никому не желаю “гореть в аду”, да и земных мук никому не желаю. Мук совести — да. Да только где бы им ее взять, эту совесть.

Кое-чего желаю самому себе. Я очень хочу дожить до суда. До настоящего суда — честного,

справедливого, цивилизованного, состязательного и открытого. С широкой и гласной общественной дискуссией. С обвинителями, защитниками, свидетелями...

Свидетели, впрочем, уже есть. И они уже свидетельствуют. Каждый в меру своих сил, своей наблюдательности, в меру цепкости своей исторической памяти и способности отличать норму от патологии. И эти свидетели — мы с вами.

Способности по потребностям

Нет, нынешний наш режим совсем не тоталитарный. А если сказать точнее — не совсем тоталитарный. Тоталитарный режим все же предполагает обязательное всенародное поддакивание, принимающее различные формы — от единогласных голосований на собраниях трудовых коллективов до участия, пусть и пассивного, в кружках по изучению материалов съездов и пленумов. Чем поддакиваешь громче, тем тебе же лучше. Но слишком громко — это тоже подозрительно. А вдруг ты претендуешь на что-ни-

будь такое, что тебе до поры до времени не положено? Ты сиди пока. Ори, конечно, но не сильно. Тебя вызовут, когда надо будет.

А сейчас нет, что вы. Сейчас есть альтернатива. Потому что у нас демократия. Причем настоящая, а не та, фальшивая и лицемерная, которая водится там, откуда вместе с полезными в хозяйстве айфонами и макбуками вползают к нам какие-то разрушительные права человека, всякие враждебные нашему традиционному укладу толерантности, однополюе, страшно вымолвить, браки и прочие нежелательные организации.

Альтернатива все же есть. Не желаешь поддакивать — не надо, без тебя поддакивателей сколько хошь. Вон их сколько процентов, по данным совершенно независимых социологических служб. Не желаешь поддакивать — не надо. Но тогда уж не обессудь, если твоя карьера не сложится. По чисто профессиональным, конечно, причинам.

Не нравится поддакивать — не надо. Есть и другие варианты. Можно еще, например, и помалкивать.

Но во все времена существовали, существуют и будут существовать люди, которых помалкивать не может заставить ничто, даже угроза репрессий.

Эти люди были и есть всегда — от простодушного сказочного младенца, во всеуслышание заявившего о постыдной обнаженности не менее сказочного короля, до всех тех, чья прямая профессиональная обязанность заключается именно в говорении, в свидетельствовании.

Я говорю прежде всего о писателях. Но о них чуть позже.

А пока вот о чем.

В современный речевой обиход все наглее и крикливее вторгаются слова и понятия, лишённые смысла. Значения этих слов мало кого интересуют. Более того, даже сами попытки их осмысления кажутся не только лишними, но и оскорбительно неуместными.

Таковы, например, все чаще и чаще употребляемые в наши дни слова “предательство” или “предатели”, не означающие ровным счетом ничего, кроме того, что это нечто плохое.

Вот маленькая девочка говорит: “Вика — предательница. Обещала пойти со мной гулять, а сама пошла с Дашей”. Тут я понимаю, о чем речь. А в прочих случаях...

Что и кого предают эти “предатели”? Кому и чему эти предатели присягали в верности?

Никто ведь не ответит.

Предать можно друга, возлюбленного или возлюбленную. Предать можно убеждения и принципы. Но только собственные, а не чужие.

А вот если твои убеждения отличаются от убеждений того, кто обвиняет тебя в предательстве, то это не предательство, а что-то совсем другое. Ваши базовые принципы вы можете предать сами. А можете их не предать. А другой человек, тем более тот, кто ваших принципов не разделяет, их предать не может.

Но эти попытки элементарной рационализации напрасны. Потому что слова тут используются не как носители смысла, а нечто заряженное лишь эмоционально. Вроде междометий. Вроде “эй!”, “ой!”, “ну!”.

А что за такие “традиционные ценности”, которые надо так тщательно прикрывать от даже слабого чужеземного ветерка? В чем они, собственно, заключаются, эти ценности? Каков их обменный курс на сегодняшний день? Можно спросить? Нельзя? Я так и думал.

Для нормальной, полноценной и хоть сколько-нибудь перспективной дискуссии необходимо пре-

одолеет тот лингвистический коллапс, тот глубокий семантический обморок, в который блаженно погрузилось все то, на месте чего должна была бы быть общественная жизнь. Не может быть этой дискуссии, пока будет существовать то, что можно обозначить как аксиоматическую несовместимость.

Главным, если не единственным пунктом обвинения часто служит реальное, а еще чаще — вымышленное (что в данном случае не так уж важно) указание на то сокрушительное обстоятельство, что обвиняемый за свою деятельность (вредную или полезную, опять же неважно) получает деньги, видите ли, из-за границы. Сам факт получения средств из-за границы причислен к смертным грехам.

На резонные вопросы — почему это плохо, если деньги идут на благие дела, почему получать деньги из-за границы хуже, чем, например, из Кремля, почему “откуда” деньги существенно важнее, чем “на что” они, почему правозащитная деятельность, благотворительность или популяризация науки на зарубежные средства вреднее, чем, например, круглосуточная пропаганда ненависти и подозрительности, но зато “хоть поутру, но на свои”, почему брать деньги у других хуже, чем во-

ровать у своих, — на такие вопросы внятных ответов никто не даст и дать не может. А невнятных — сколько угодно. То есть как это почему? Да потому что Запад — наш враг, это же всем известно, вы что, ребенок, что ли! Почему враг? Чей это “наш”? Ответов нет. Или есть, но в форме репрессивных мероприятий.

Потому что аксиомы в доказательствах не нужны. И чем они абсурднее, чем больше резонных вопросов они вызывают, чем уязвимее они с точки зрения элементарной логики и сформировавшихся за многие годы представлений о реальном, а не выдуманном современном мире, тем они крепче и монолитнее.

Считается, что на языке, не обеспеченном внятными значениями, изъясняются либо чиновники и партийные функционеры, либо телевизионные и газетные пропагандисты, либо те многочисленные, увы, олухи, кому весь этот бред адресован.

Но ведь на таком же примерно языке часто говорят именно те, кто вроде бы в силу профессиональной специфики просто обязан пользоваться словами и синтаксическими конструкциями, имеющими некий смысл, — то есть литераторы.

Иногда кажется, что родной язык, то есть свой рабочий инструмент, они, эти литераторы, эти, так сказать, коллеги, постигали при посредстве карманного разговорника.

Понятно же, что из такого разговорника легко можно извлечь и запомнить такие насущные и, главное, необычайно полезные в хозяйстве вещи, как:

— Скажите, где тут поблизости можно присоединиться к подавляющему большинству?

— Ты патриот или предатель? Говори быстро!

— Все гораздо сложнее, чем вам кажется, поэтому не надо упрощать.

— Все гораздо проще, чем вам кажется, поэтому не надо усложнять.

— Ты многого не понимаешь. А на самом деле...

— Это же так естественно — любить империю и тосковать по ней.

— И слава богу, что мы (мы!) наконец дали ясно понять, что с нами (нами!) надо считаться.

Ну и конечно же, “национальные интересы” — всесильная мантра, которая только портится, когда пытаешься наполнить ее реальным содержанием.

Но в этом разговорнике (особенно в карманном) вы никогда не найдете ничего вроде “плюнь да

поцелуй у злодея ручку”. Да и про “руки брадоброя” ничего вы там не найдете.

И никогда вы не найдете там никаких осмысленных человеческих слов. Даже самых простых и самых в данном случае естественных. Ну, хотя бы таких, как “Ребята, вы что, совсем, что ли, ож...ли?”

ВДРУГ ВЫПЛЫВЕТ

ХВОСТОВСТВО

Это не орфографическая ошибка и даже не опечатка. Это от слова “хвост”.

В повседневной речевой практике в товарном количестве бытуют “хвостовые” метафоры. И “заметать следы”, и “вилять хвостом”, и “вертеть хвостом”, и “распускать хвост”, и “прижать хвост”, и “мне надо к четвергу сдать два хвоста”, и “мне подружка принесла на хвосте”, и “хвост-то мы ему, конечно, прищемили — вон как забегал-то!”.

Однажды в компании, состоявшей из двух-трех друзей-коллег, неожиданно зашел очень странный

и даже, можно смело сказать, дурацкий разговор. Один из тех разговоров, в основе которых лежит привлекательная и увлекательная, хотя и вроде бы бесплодная “сослагательность”. Один из тех, которые начинаются с “а вот что бы было, если бы...”

А тот разговор велся в изначально сомнительном, а потому и в головокружительно свободном и радостном жанре “сослагательной анатомии”. И не в том расхожем его варианте, который называется “если бы люди могли летать, как птицы”, и не в том, “что было бы, если бы могли дышать под водой”. Нет, совсем, как ни странно, о другом зашла вдруг речь. А именно о том, что было бы, если бы у людей были хвосты. Всего лишь. Такая вот бескрылая тема завладела вдруг нашим коллективным воображением.

Начавшись с легкого необязательного трепя, который иногда бывает так сладостен в обществе давно знающих и хорошо понимающих друг друга людей, ничуть не опасаящихся выглядеть в глазах друг друга идиотами, разговор постепенно стал принимать пародийные черты кухонной культурологии.

Сначала пышным цветом расцвела, так сказать, сугубо интимная сторона вопроса. И расцвела она,

помню, таким обилием красочных деталей, что, пожалуй, ничего я об этом рассказывать не стану.

Много было и других аспектов этой жизненно насущной проблемы. Возникало и на ходу тут же решалось множество важнейших вопросов.

О чем, например, сигнализирует длина хвоста? Прямо или обратно пропорциональна эта самая длина (или, допустим, толщина) сложившимся представлениям о сексуальной или интеллектуальной состоятельности хвостообладателя?

Как должны выглядеть, допустим, штаны? С тремя ли штанинами, одна из которых предназначена для хвоста? Или для хвоста должны изготавливаться отдельные футляры? А также приличным или, напротив, эпатирующим общественную мораль должен выглядеть обнаженный хвост?

Чем внешне должны отличаться друг от друга хвост мужчины и хвост женщины? Бритостью — небритостью? А хвост ребенка от хвоста взрослого? Или вовсе не должны они ничем отличаться?

Как должна изменяться мода на внешний вид хвоста? Например, мода на стрижки? Должны ли хвосты чем-нибудь украшаться и если да, то как могут выглядеть эти украшения?

Каким образом наличие хвоста обогатило бы язык наших жестов, семиотику повседневного и профессионального поведения? Какие движения, повороты или положения хвоста означали бы радость, дружелюбие, гнев, доверие, недоверие, согласие, несогласие, угрозу, обиду, смущение, иронию, презрение, понимание, непонимание, кокетство?

В общем, много мы в тот вечер такого насочиняли — всего и не упомнишь. Помню только, что нам было очень весело и что интеллектуальный накал дискуссии нарастал пропорционально количеству принятых внутрь каждого из нас приятных и полезных жидких веществ.

Фантазия наша, помнится, так разгулялась, что в конце концов я заметил, как один из участников разговора осторожно и опасливо потрогал на себе то место спины, где бесславно заканчивается позвоночник и начинается что-то совсем другое. Потом, слегка вдруг помрачнев, он сказал: “Нет, друзья, как это ни прискорбно, но хвостов у нас нет. И уже, боюсь, не будет. По крайней мере у меня”.

Да, сослагательного склонения не знает не только история. Эволюция его тоже не знает. Да, только из бесхвостых, увы, приматов могли по-

явиться такие вот, как мы. Такие, какие есть. Жаль, конечно, но бдительного Дарвина не проведешь. Нет, не дано нам волочить за собою привлекательные, нарядные и выразительные хвосты — длинные, короткие, толстые, тонкие, пушистые, голые, всякие. А дано нам и дальше влечить свое скучное бесхвостое существование, сублимируя эту свою родовую ущербность разными доступными способами.

Или все же есть надежда?

Есть вот такое довольно известное высказывание поэта Иосифа Бродского: “Память, я полагаю, есть замена хвоста, навсегда утраченного нами в счастливом процессе эволюции”.

Изящное это соображение кажется мне вполне пригодным для того, чтобы послужить отправной точкой для некоторых последующих.

Таких, например, в соответствии с которыми катастрофическая и массовая потеря памяти — прежде всего исторической — чревата обратным ходом эволюции. И тогда она, персональная или коллективная память, постепенно заменяется разнообразными хвостами.

Например, как в наши дни, она может замениться пышным павлиньим хвостом великодержав-

ной спеси. Или лисьим хвостом, заматающим следы собственного паскудства. Или собачьим хвостом, восторженное виляние которым красноречивее всяких слов и дел свидетельствует о бурных верноподданнических чувствах.

Да и много еще есть на свете разнообразных хвостов, подменяющих собою память.

Впрочем, исчезающая людская память замещается поначалу все же символическими, а не вполне буквальными хвостами. Ну так и что с того: эволюция — дело небыстрое.

За русский сыр

В поздние советские годы из всех наличных символов товарного благополучия (или неблагополучия) на первом месте была, конечно, колбаса. Ее метафизическое могущество, обеспеченное не только безграничным потребительским демократизмом, но и очевидной соблазнительностью околофрейдистских ассоциаций, могущество, плодотворно вдохновлявшее несколько поколений поэтов и философов, замороженных этим мифопорождающим феноменом, существенно затмевало все прочие. Такие, например, как “ковер”,

который, к слову сказать, тоже был не лыком шит. Не говоря уже о прочих продуктах питания. В том числе и о сыре.

Нет, сыр не то чтобы отставал в этом удивительном состязании. Он в нем просто не участвовал. Он играл какую-то отдельную, не всегда заметную, но важную роль. Почему — непонятно. Но он ее играл и продолжает играть — это факт.

Не самый ведь популярный в России продукт! Мы ж не Франция все-таки! И даже совсем не Франция! А вот семиотический ореол, окружающий его, почему-то важен до необычайности. В чем дело? А бог его знает!

Кстати, о Боге. Не оттуда ли, не от дедушки ли Крылова тянется, ничуть не выдыхаясь, а лишь обогащаясь все новыми ароматами, этот душистый (об этом чуть позже) шлейф? Вспомните-ка, кто послал вороне кусочек сыру? То-то же. А ведь каждый из нас живет с этим сюжетом с тех пор, как научился различать слова. Не оттуда ли смутные представления о его, сыра, нерукотворном происхождении?

Нет, сыр — продукт непростой. Он в России больше чем сыр. Он не только объект материальной

культуры, но и столь же неясный, сколь и отчетливый символ и предвестник разнообразных и до поры до времени ускользающих от определений социально-культурных процессов.

В середине 90-х годов я какое-то время прожил в Берлине. Однажды я встретился там со знакомой немецкой журналисткой, которая по долгу службы часто ездила в Москву, а иногда и бывала там подолгу. В тот раз она только что приехала оттуда. “Расскажи, что там у нас?” — спросил я ее.

“Ну, по-всякому, — сказала она. — Но немножко тревожит, что из магазинов стали потихоньку исчезать нервные продукты”. — “Что значит «нервные продукты»?” — “Ну, такие, которые сигнализируют о наступающем неблагополучии. В том числе и политическом”. — “Это какие же такие продукты?” — “Ну сыр, например!”

Надо же! Ведь и правда! А я никогда прежде об этом не задумывался.

Тогда, впрочем, сыр быстро вернулся. А чуть позже монолитное слово “сыр” обрело множественность: в бытовой речи произошла тихая, но важная революция, вследствие которой общество освоило слово “сыры”, одомашнив таким образом

давний, советских времен, тревоживший воображение миф о трехстах сортах сыра в любом европейском магазине.

Появились, в общем, сыры.

А до этого слово “сыры” (а также “сырихи”) на протяжении десятков лет означало поклонников и поклонниц, толпами ходивших за любимыми артистами. “Сырами”, как я выяснил позже, их называли потому, что на Тверской (и я это хорошо помню) много лет был знаменитый магазин “Сыр”. И там у них было место встречи. Туда же они бежали греться в зимнюю стужу. Термин этот, говорят, восходит к 50-м годам, к временам славы певца Лемешева, который вроде бы жил поблизости.

“Сыры” были люди. Магазин же был “Сыр”.

Сыр, как я уже говорил в начале, не был слишком уж потребляемым продуктом. Иногда он казался продуктом скорее ритуальным. Я еще из детства помню, как ни один праздничный стол не мог обойтись без тарелочки тонко нарезанного сыра. А также я хорошо помню, что именно эта тарелочка, как правило, оставалась нетронутой. После чего она отправлялась в холодильник, где печальные ломтики сыра долго сохли от тоски и одиночества.

Зато отсутствие сыра всегда вызывало в людях нечто близкое к эсхатологическому унынию. Вот, например, в записных книжках Ильфа есть такая трогательная запись:

“«Бога нет!» — «А сыр есть?» — грустно спросил учитель”.

Заметили ли вы, что большинство шуток и анекдотов на тему антисанкций и прочего импортозамещения связаны по большей частью именно с сырами? Именно все больше про пармезан да про камамбер, под ногами у которых неловко путается, пытаясь обратить на себя внимание, какой-то неприкаянный хамон.

Вот и у автора этих строк, когда он прочитал на днях сообщение о том, что запрещенные продукты будут уничтожать прямо на границе, тут же сам собой сложился непритязательный стишок, перефразирующий известную довоенную песню:

Над таможей пасмурно и серо,
Залегли туманы широки.
В эту ночь решили камамберы
Перейти границу у реки.

И пошли свиньёю камамберы,
 Чтобы нас сгубить в один момент.
 “Ничего, мы примем контрмеры”, —
 Стиснув зубы, молвил президент.

Впрочем, шутки и анекдоты, связанные с “сырной” тематикой, были и раньше. “Сыр”, хотя и не в главных ролях, прочно поселился в городском фольклоре. Тут можно вспомнить и про то, что “бесплатный сыр бывает только в мышеловке”, и про некоторые, иногда довольно идиотские, полудетские анекдоты вроде такого: “Привет, ты устроился, наконец, на работу? — Ага, устроился. — И куда же? — В гастроном номер 16. — А что ты там делаешь? — Вместо сыра воняю”.

Если миф колбасы в силу особенностей ее внешнего облика отсылает нас к материально-телесному низу и прочему бахтинскому карнавалу, то такие физические свойства сыра, как запах, то есть дух, возвышают его над дольным миром и поселяют в “горнем выпреннем пределе” (Тютчев).

Не тут ли разгадка?

Да, сыр — продукт духовный, это надо признать. И дело не только в том способе, каким он до-

стался крыловской вороне. Дело еще и в том, что он буквально распространяет дух.

Педант, конечно, возразит, что не “духовный”, а уж скорее “духовитый”. Но, как показывает жизнь, эти однокоренные, но все же разные по значению слова в сознании некоторых видных мыслителей современности по смыслу не различаются. А им виднее.

Вот есть, например, такой байкер Хирург. Он широко известен не только шумливыми по форме и экзотическими по содержанию проявлениями своего громокипящего патриотизма, патриотизма без конца и без края, без страха, упрека, ума, чести и совести. В последнее время он приобрел репутацию непревзойденного златоуста. Этим он выделяется из своей среды, где прямо скажем, особых цитцеронов вы не заметите.

Так вот, именно он высказался не так давно в том роде, что своими соратниками он считает “всех честных, духовитых людей” (*sic*, как говорится в подобных случаях).

Что тут сказать, кроме того, что в данном конкретном случае красноречивый байкер попал в самую точку. Что с этим его тезисом, по крайней мере

в той его части, где про “духовитость”, никак не поспоришь.

Исключительное, я считаю, чувство слова у мотоциклиста. И я это говорю почти серьезно, потому что все то, что они там привыкли называть духовностью, именно это самое и есть.

И тут становятся как-то особенно понятными внутренние, не осознанные до поры до времени пружины патриотического сыроборчества. Не позволим натовским сырам пахнуть на наших просторах! У нас тут своя духовитость, то есть духовность, то есть.. ну в общем, понятно.

Но чем бы таким позитивным все-таки закончить? Ну, например, можно напоследок сказать, что все равно ведь дух веет где хочет. Так вот мы и скажем.

Алиса и мы

В последнее время люди, привыкшие соотносить и сопоставлять жизненные или социальные явления с текстами мировой культуры, вспоминают то Кафку, то Оруэлла, то Гоголя с Щедриным, то Хармса с Зощенко, то Ионеско, то братьев Стругацких.

Мне же, не умеющему и не желающему подавить в себе потаенный, но прочно засевший в недрах сознания исторический оптимизм, все чаще вспоминается “Алиса в Стране чудес” или даже “в Зазеркалье”, где все построено на материализации, на

оживлении устойчивых метафор, поговорок, идиом, народных прибауток, сказочных сюжетов, загадок, считалок и скороговорок.

И точно так же, как и Алиса, мы находимся в пространстве и в ощущении тягостного и в то же время захватывающего сна.

И этот сон все длится и длится, набирая обороты черного абсурда, вязкого температурного бреда. И мы уже не в состоянии уследить за этой стремительной каруселью, за резкой сменой масок, за перекрикивающимися друг друга взвинченными голосами.

Точно так же, как Алиса стала свидетелем схватки оживших игральных карт, мы наблюдаем смертельную битву знаков, символов, имен, географических названий, косвенных признаков..

Ссорящиеся дети любят передразнивать имена и фамилии своих “врагов” — или, как стыдливо говорят российские политики, “партнеров”, в качестве убойного аргумента своей правоты напирать на их физические особенности или особенности их речи.

Тупые и злобные люди, желая отомстить неразумным обидчикам, норовят пнуть их в самое, как им кажется, слабое их место. В данном случае таким слабым местом им кажется культура.

Поэтому первым делом надо начать всерьез прессовать Украинскую библиотеку или позакрывать турецкие институты.

В принципе, эта логика поведения знакома мне еще с коммунального детства. Поссориться с соседом и с досады дать втихаря поджопник его маленькому сыну. Да и своего заодно пнуть, чтобы не играл с ним во дворе.

В наши дни мы читаем: “Около 50 российских вузов расторгли договоры о сотрудничестве с турецкими университетами и институтами”.

Или: “В Москве закрылся Российско-турецкий научный центр, располагавшийся в Библиотеке иностранной литературы”.

Но это, конечно, не вчера началось. Это история давняя. В начале Первой мировой войны, например, “Петербург стал Петроградом в незабываемый тот час”. В конце сороковых годов, в годы “борьбы с космополитизмом и низкопоклонством”, “французская” булка стала “городской”, а знаменитое кафе на Невском проспекте, много лет известное как “Норд”, стало “Севером”.

А еще я запомнил один из тех дней ранней весны 69-го года, когда случился пограничный кон-

фликт на острове Даманский, когда все вокруг говорили о том, что вот-вот начнется война с Китаем.

Все годы моего детства и ранней юности на крыше гостиницы “Пекин” красовались каждые пару минут сменяющие друга две надписи: “Пекин” по-русски и “Пекин” по-китайски.

В тот день, о котором я рассказываю, я шел мимо гостиницы и вдруг обнаружил, что китайская надпись напрочь исчезла. И мне вдруг стало по-настоящему тревожно.

Теперь — на повестке дня слово “Турция” и все производные от него.

Я безо всякого, как мне кажется, особого преувеличения легко представляю себе такую маленькую мизансцену из какой-нибудь очередной исключительно вдумчивой телевизионной телеатаки на человеческий мозг.

Проницательнейший ведущий с тонкой улыбкой и с интонациями провинциального гипнотизера, допустим, говорит:

В Соединенных Штатах только что отпраздновали День благодарения. Как известно, в этот день в каждой американской семье готовят индейку. А как

по-английски называется индейка? Правильно: она называется *Turkey*. Случайность? Совпадение? Возможно, что и так. Но подумать, согласитесь, есть о чем.

В общем, пока что на марше слово “Турция”. Турецкий марш буквально.

Кстати, в наши дни разные люди беспрерывно шутят на предмет возможного запрета на исполнение “Турецкого марша” евросоюзовского композитора В. А. Моцарта.

А уж такая ли это шутка, если вспомнить, как в начале 80-х, в разгар “разгула” польской “Солидарности”, из радиоточек, висевших на всех кухонных стенах, в одночасье исчез “Полонез” Огинского, который до того момента чуть ли не ежедневно транслировался в “концертах по заявкам радиослушателей” и прочих “Рабочих полднях”.

В наши дни шуток, построенных на диких преувеличениях, практически не бывает. То есть они бывают, но они уже не шуточки. Да и такое понятие, как “гротеск”, уже ничего толком не означает.

Да, смех в наши дни стремительно теряет свои инструментальные возможности. Он фатально ли-

шается своей традиционной способности влиять на ход событий и на состояние умов.

Впрочем, вопрос о том, можно шутить или нельзя, надо или не надо, — вопрос праздный, вопрос риторический. Столь же праздный и риторический, как вопрос о том, можно ли и нужно ли отключить одну из важнейших функций организма.

Способность к смеховой реакции — это едва ли не последнее, что мы имеем право терять.

Потому что это не только проверенная жизнью защитная реакция от мощного напора зловещего абсурда происходящего вокруг нас, не только надежный измеритель сохранившихся в нас нравственных и эстетических критериев, но и универсальный способ переговариваться между собой или хотя бы посылать друг другу позывные посреди мутных болотных испарений так называемого информационного пространства.

Способность к смеху — это утвердительный ответ каждого на отчаянный вопрос: “Эй! Есть тут кто живой?” Потому что смех — это жизнь и есть.

И давайте не будем забывать о маленькой девочке Алисе, сумевшей в облепившей ее со всех сторон фантазмагории, разрушающей все связи между

явлениями, понятиями и категориями нормально-го человеческого мира, сохранить ясность рассудка и открытое отношение к жизни.

И давайте помнить, что сны не длятся вечно. В противном случае они называются совсем по-другому.

И мы, разумеется, как и она, однажды проснемся, и каждый скажет: “Какой удивительный сон приснился мне”.

Вдруг выплывает

Мой институтский товарищ ухаживал некоторое время за одной девушкой, нашей общей однокурсницей. Ухаживал, так сказать, всерьез. Настолько всерьез, что бывал у нее дома и даже был познакомлен с ее родителями. Забегая вперед, скажу, что счастливого брака, да и никакого другого брака не получилось. Впрочем, к тому, что я хочу рассказать, это не имеет отношения.

Отцом этой барышни был некий очень номенклатурный как бы ученый, чуть ли не академик

или на худой конец членкор, автор и соавтор нескольких вузовских учебников по чему-то такому марксистско-ленинскому, кажется, по научному коммунизму — был такой когда-то. В общем, как тогда говорили, шишка.

В домашней обстановке, рассказывал мой приятель, он был невозможно обаятельным, обходительным, демократичным, веселым, остроумным, гостеприимным и до ужаса вольнодумным, с некоторым даже уклоном в прямое диссидентство. Домашняя библиотека кишела “тамиздатом” и зарубежными альбомами по искусству, в котором он, кстати, неплохо разбирался.

При всем при том папаша этот не только писал учебники и не только вел вольные домашние беседы. Он еще время от времени выступал в газетах и журналах в качестве пламенного публициста, писавшего на разные актуальные общественно-политические темы. Статьи эти были не просто “идейно выдержанными” (других тогда и не публиковали). Они были откровенно мракобесными даже по тем временам. Как говорится, правее папы.

Однажды мой товарищ в минуты особой доверительности, усугубленной легким алкогольным

вмешательством, набрался духу и все же спросил: “А вот скажите, Павел Николаевич (или Николай Павлович — это неважно в данном случае), как же все-таки так получается, что ваши статьи настолько расходятся со всем тем, что вы говорили, например, только что?”

Академик ничуть не обиделся. Он посмотрел на моего приятеля снисходительным взором, каким смотрят на любознательного, но простоватого отрока, и с непередаваемой задушевностью сказал: “Андрюша, милый! Читать же надо уметь”. — “Да я вроде умею”, — слегка растерялся Андрюша. “Значит, не умеете. Потому что там все меж-ду-строк. И если вы прочтаете внимательно, вы увидите, что там все ровно наоборот”.

Приятель потом попытался читать между строк, причем именно внимательно, и даже чуть ли не пытался переворачивать газету вверх ногами, но никакого “наоборот” у него так и не получилось, что он поначалу отнес на счет своей интеллектуальной неподготовленности к рекомендованному способу усвоения газетных материалов.

Таких относительно вежливых слов, как “двоемыслие” или “конформизм”, он тогда еще активно

не употреблял, хотя и знал. А менее вежливые слова, такие, как, например, “продажность”, не приходили ему в голову, потому что этот дядька ему в целом-то скорее нравился. Печальное знание пришло чуть позже. И уже навсегда.

Я это, собственно, почему вспомнил? Я это вспомнил потому, что я легко представляю себе такую примерно сцену. Я легко представляю себе, как тот или иной из нынешних телевизионных “светильников разума”, когда ВСЕ ЭТО кончится (а это все обязательно кончится), с такой же снисходительной интонацией скажет: “Да вы что, ребята! Вы это, что ли, принимали все за чистую монету? Вы что, дураки, что ли? Слепые, что ли? Глухие? Вы что, не обратили внимания, как я там все время подмигивал то левым, то правым глазом? А как я руками делал, вы не видели? Я же показывал: не верьте, мол, все это брехня. А под каким углом я ставил носки ботинок, не заметили? Ну вы даете! А как я голос специально то повышал, то понижал, чтобы всем всё было понятно, вы не слышали? Да ла-адно! Да это же все был стеб чистой воды! Вы что, в конце-то концов! Совсем уже?”

И правда, что это мы? Читать же надо уметь. Желательно между строк. И внимательно.

Человек, как известно, соткан из противоречий. Вот и я, перечитав все только что мною написанное, немедленно захотел с самим же собой и поспорить.

Аналогия, конечно, соблазнительная и даже в каком-то смысле утешительная. Но, увы, она не вполне, как говорится, работает.

Тот академик, о котором я рассказал, играл по давно заведенным правилам публичного коммуникационного поведения того времени. Его учебники и его газетные статьи не проникали в сознание и, уж тем более, в подсознание. И я, и миллионы других воспринимали эти и подобные этим тексты как монохромный визуальный объект, не задевающий ни чувств, ни мыслей, как всего лишь совокупность выстроенных ровными рядками букв русского алфавита и слегка разнообразивших эту монотонность пробелов и знаков препинания. Эти тексты были даже как-то вызывающе бесполезны, а если чем-то и полезны, то только с точки зрения пополнения сберкнижек их авторов или лишних строчек в их библиографии и, соответственно, в послужном списке. Но они были и не особенно вредны.

В те годы, о которых я рассказываю, официальная риторика пребывала в стадии медленного, но

верного умирания, хотя и само это умирание казалось тогда практически вечным. Казалось, что полумертвецы так и будут на протяжении всей нашей жизни шелестеть своими бумажками и шевелить своими бескровными губами.

А тот академик если и отличался чем-то от прочих изготовителей учебных или газетных текстов, то отличался тем, что, будучи человеком в каком-то смысле все же живым и рефлекслирующим, он был озабочен установлением и укреплением сразу двух противоположных друг другу репутаций — репутацией окостеневшего “верного ленинца” и репутацией вальяжного “европейца”, призывающего всех тех, с кем ему было приятно и интересно общаться, читать “между строк”, даром что между этих самых строк, как впрочем, и в самих строках, решительно ничего не было.

Про нынешних ребят трудно сказать, что они играют по каким-то правилам. Именно что нет. Они сами участвуют в установлении этих правил. А их правила таковы, что нет там никаких правил. Есть только дежурные “вызовы” текущего момента. Это бои без правил. А потому в пространстве своего бытования они практически неуязвимы. Что значит

нельзя ударить сзади? Что значит нельзя протягивать веревку поперек темного тротуара? Что значит нельзя впятером на одного? Что значит нельзя толкнуть в лужу инвалида на костылях? Как это нельзя? Можно. Потому что у нас тут в Останкино национальное возрождение. Вы что, не в курсе? Ну, и потому еще, что “время такое”, а вы как думали.

Они сильно отличаются от своих позднесоветских предшественников, не озабоченных ничем, кроме цековского или академического пайка, персональной пенсии и надежно огороженных гектаров на Николиной горе.

Они полны охотничьего азарта и искрятся веселыми “задумками”, “примочками”, “феньками” и “приколами”. Их решительный, обеспечивающий полную свободу маневра отказ от докучливых общественных конвенций о границах между порядочностью и подлостью, между правдой или хотя бы правдоподобием и окаянным собачьим бредом хлещет бурным пенящимся фонтаном, если, конечно, фонтаном уместно назвать сноровисто организованный прорыв канализации.

Я, как и многие другие, кто не утратил более или менее устоявшихся представлений о нравствен-

ной и интеллектуальной гигиене, телевизор стараюсь не включать. Но он настаивает в самых неожиданных местах. В разговоре с таксистом, например. Или в очереди в парикмахерскую. Или в ироническом пересказе тех, кто либо по профессиональной обязанности, либо просто из полумазохистского любопытства все это дело смотрит и слушает.

Одни из нормальных людей вновь и вновь включают телевизор, хотя давно и хорошо знают, что там будет. Потом немедленно ужасаются и все свои ужасы в различных формах саркастического остроумия транслируют в социальных сетях. Другие — из тоже нормальных — говорят им, что сколько же можно, мол. Ничего там другого не будет! Зачем вы его включаете вообще! По какой такой причине?

Не по той ли же самой причине, думаю я, по какой мальчишки времен моего детства в двадцать седьмой раз бегали смотреть “Чапаева”. А вдруг в этот раз он все же выплывет!

Книги и пляски

Кто о чем, а я, как обычно, — о контексте. В данном случае об историческом. Но и не только.

А еще о том, что в наши дни, как нетрудно заметить, и государство, и общество, и отдельные социальные группы, и многие отдельные граждане стали жертвами массовой эпидемии подозрительности, мнительности и повышенной обидчивости — младшими сестрами всепроникающей ненависти.

Маниакальные поиски различных “кошунств” и “оскорблений чувств” стали во много раз опаснее

и зловреднее самих кощунств, хоть мнимых, хоть реальных.

Вот, например, два относительно недавних события, выуженные мною из пестрой ленты новостей.

Одно такое: “90-летний Адолек Корман, выживший в нацистском лагере смерти, вернулся в Освенцим и Дахау, чтобы вместе с внуками станцевать там”.

Второе заключалось в том, что в Германии после многолетнего запрета официально выпущена книга “Майн кампф”.

Что общего между тем и этим? Нет, какая несомненная причинно-следственная связь существует между этой книгой и Освенцимом, мне, пожалуй объяснить не надо. Как говорится, спасибо, обойдусь.

А вот связь между двумя упомянутыми событиями именно сегодня не вполне очевидна. Но она есть. Потому что и то и другое, хотя и не в равной степени, прошло по ведомству “кощунства”.

Ну, с “Майн кампф” вроде бы все понятно. Взяли да издали. Да еще в Германии. Ничего себе! Нацизм поднимает голову! Гнев переполняет наши души, а пепел стучит в наши антифашистские сердца!

Особенно, конечно, трогательно звучат возмущенные голоса с “нашего” берега. Я вот наткнулся

где-то на обращение группы российских литераторов, выразивших праведное негодование по этому поводу.

Примерно что-то такое же я помню еще с советских времен, когда гуманистически озабоченных советских писателей начинал время от времени мучительно “беспокоить Гондурас” — как в прямом, так и в переносном смысле. И тогда они свой праведный и безусловно законный гнев по поводу, допустим, нарушенных кем-то кое-где прав человека адресовали куда подальше от родных просторов. В Чили, например. Или в Южную Африку. Или в Соединенные Штаты, где “там замучили студента, там убили президента”.

При этом все то, что творилось под самым их носом, обсуждалось в лучшем случае на собственной кухне под сенью мощных струй включенного водопроводного крана.

Нынешним же похоронщикам западной демократии хочется процитировать широко известный афоризм про соринку и бревно. Но не буду — слишком уж как-то это на поверхности. К тому же я ничуть не сомневаюсь в том, что в той же Германии и своих “возмущальщиков” хватает.

А я уверен, что это никакое давно уже не кощунство. Это давно уже не “нацизм поднимает голову”. Если где-то и поднимает, то совсем в иных формах, на совсем иных основаниях, опирающихся на совсем иные тексты и авторитеты, и, кстати, в совсем других местах.

Например, в тех, откуда громче всех раздаются возмущенные голоса. Я воспринимаю факт ЭТОГО издания в ЭТОЙ стране как полную и окончательную победу над нацизмом. По крайней мере в одной отдельно взятой стране. В той самой, где нацизм однажды возник, однажды победил и однажды был сокрушительно разгромлен.

И это, я уверен, уже не страшно. Это уже не фараон. Это уже его мумия. Она уже может лежать в музее, не внушая священного ужаса. Она уже не воскреснет. Бояться надо живых.

Страна, канцлер которой встал на колени в Варшавском гетто, что стало мощным символом искреннего покаяния страны и народа, имеет право издавать любые книги. Потому что яд из этих книг давно испарился. Потому что сегодня выпустить “Майн кампф” — это примерно то же самое, что выпустить, например, “Молот ведьм”.

Мало ли издается других, гораздо более свежих сочинений человеконенавистнического содержания. Если кому-то кажется, что мало, пусть зайдет в любой большой магазин в Москве и посмотрит сам.

Снятие запрета на “Майн кампф” — это вовсе не то, что кажется некоторым. Это вовсе не зловещий признак возрождения преступной разрушительной идеологии. Это признак того, что общество уже может позволить себе считать себя взрослым, умеющим отличать черное от белого. Это признак того, что общество уже не нуждается в запретах и уже имеет право читать “взрослые” книжки, даже такие, с которыми связаны самые мрачные периоды их жизни.

Это ребенку не стоит показывать картинки со сценами насилия, потому что его психика неустойчива, а способность к абстрактному мышлению еще не развита. А взрослый человек во взрослом обществе уж как-нибудь сам разберется.

А если бы, кстати, продолжали запрещать эту книгу, то что было бы? В нашу-то эпоху! Что, тот, кто захотел бы ее прочесть, так бы и не прочел? Не нашел бы? Правда?

Я, например, когда-то прочитал эту книгу. В русском, между прочим, переводе. Она мне показалась

мерзкой и отвратительной не только по ее содержанию, более или менее известному и безо всякого прочтения. Она мне показалась отвратительной прежде всего по убогому, напыщенному, мещанскому, крикливому стилю.

А вот почему такая книга сумела однажды со-
вратить целое поколение культурного европейского
народа, понять необходимо. А запрет этой книги —
тем более что он в наше время абсолютно бесполе-
зен и может носить исключительно символический
характер — ничего объяснить не сможет.

Формально вроде бы все правильно: в стране,
где когда-то, в первой половине прошлого века,
установилась человеконенавистническая идеология,
приведшая известно к чему, официально издали
книгу, легшую в основу этой идеологии. Как это
возможно?

А вот так это возможно, что страна и ее обще-
ство, которые сумели проделать важную, необходи-
мую мучительную нравственную работу, уже могут
позволить себе не таить свои скелеты в шкафу. По-
тому что они победили. Они победили не с пре-
ступной книгой в руках. Они победили саму эту
книгу, и она им уже не страшна.

Градус праведного негодования примерно таков, как если бы рядом с Бранденбургскими воротами в наши дни установили бы конную статую Гитлера.

Но в наши дни рядом с Бранденбургскими воротами не стоит памятник фюреру. Там стоит памятник жертвам Холокоста.

И вот кто-то из чудом выживших жертв вернулся на одно из самых зловещих мест в истории, чтобы там станцевать.

Но и тут раздаются голоса о “кошунстве”, а вы как думали.

Ага, а “если бы в мечете”. А если бы на могиле ваших родителей? А вам бы понравилось, если бы пели и танцевали там-то и там-то?

Да, понравилось бы. Мне вообще нравится, когда на месте смерти танцует жизнь. Веселье не оскорбительно.

Когда танцуют, радуясь смерти, это одни танцы. Когда танцуют, радуясь жизни и утверждая ее победу над смертью, это другие танцы.

Когда танцуют от чувства любви — это одни танцы, когда танцуют от чувства ненависти — это другие танцы.

И не видеть разницы между “плясками смерти” и “плясками жизни” есть признак нравственного дальтонизма.

Да, существует такое риторическое клише, как “пляски на костях”. И эта формула настолько завораживает, настолько парализует интеллектуальную волю и живое чувство, что заслоняет самое главное: временной, пространственный, личностный, нравственный и эстетический контекст этих самых “плясок”.

Зачем плясать на месте скорби и мучительной памяти? Не кощунственно ли это? Нет, ничуть. Кто-нибудь бы другой сплясал, то да, возможно. А этот старик — нет. Вот уж кто имеет право!

И не столько важно, ЧТО сказано, как важно, КТО говорит, КОГДА, КОМУ и с КАКОЙ ЦЕЛЬЮ. И в этом существенно больше живого содержания, чем в самом глубокомысленном высказывании, лишенном контекста.

Старик, станцевавший в Освенциме, — выжил. Немцы, могущие позволить себе без боязни массового отравления издать книгу, которая, да, сыграла свою зловещую роль в их трудной истории, — выжили.

Канцлер Германии встал на колени в Варшавском гетто. Бывший узник нацизма, выживший и доживший до девяноста лет, станцевал в Освенциме. Европейская культура второй половины XX века опасливо озиралась и продолжает озираться на прославленную формулу “Возможна ли поэзия после Освенцима”. Теперь можно сказать, что и танцы, и книги, и многое прочее уже существуют после “поэзии после Освенцима”.

Пожатье каменной десницы

Начну с одного вполне анекдотического и несколько пикантного сюжета. Давний мой знакомый рассказывал мне когда-то о том, как однажды где-то на юге он познакомился с одной милой барышней. Ну, и стал за ней ухаживать, естественно.

Она ему нравилась всем, кроме одного: ее речь казалась ему несколько неестественной, отмеченной чрезмерной литературщиной и страстью к “умным”, не всегда уместно употребляемым словам, что часто бывает у полуобразованных людей. А он был филолог и поэт к тому же.

Апофеозом этой ее досадной манеры стал тот момент в довольно стремительно наступившей патетической стадии их знакомства, когда она некий существенный в данном контексте орган своего мимолетного возлюбленного назвала зачем-то “фаллическим символом”.

“Я даже как-то оскорбился, — рассказывал он, — Что это вдруг символ-то! Совсе не символ! А самый даже настоящий”.

Это, впрочем, анекдот. Но ведь и правда же существуют люди (и их много), которые не умеют отличать символическое от реального.

Этот тип сознания основан на допущении, что эфемерный символ способен уплотняться до состояния реального объекта, оживать и начинать действовать наподобие той самой статуи Командора, которую один неутомный бабник неосмотрительно пригласил на ужин, поплатившись за свою дерзость смертоносным пожатием каменной десницы.

Иногда говорят: “Мы очутились в новой реальности”. Да нет, ни в какой новой реальности мы не очутились. Да и ни в какой другой реальности мы не очутились.

Мы оказались просто вне всякой реальности. Мы оказались в символическом мире, где живая реальность вовсе не служит универсальным критерием хотя бы приблизительной истинности того или иного утверждения или материальным обеспечением того или иного знака.

А где она, реальность? Реальностью теперь можно назвать лишь все то, что никак не обозначено, не названо. Реальная реальность существует в отлаженных, в отрегулированных, в “хорошо темперированных” сообществах, где означающее и означаемое сосуществуют если не в полном обоюдном согласии друг с другом, то хотя бы в осознании необходимости такого согласия.

Наша страна, наше общество — это не пространство реальности. Какая такая реальность? Где вы ее видели? Нет никакой реальности. Она практически полностью вытеснена миром не обеспеченных реальными значениями, но наливающимися кровью и обрастающих мясом и дикой шерстью символов, знаков, наименований, формул, лозунгов, статей уголовного кодекса, крылатых цитат, монументов, имен. В междометиях сейчас, пожалуй, куда больше живого смысла, куда больше очевидных значений, чем в существительных, прилагательных и глаголах.

Если учесть это обстоятельство, то и не возникнет никакого особого диссонанса по поводу того, что, например, “ложью” или “клеветой” называется вовсе не то высказывание, которое не соответствует реальности, а то, что не соответствует сложившимся к настоящему времени или, что чаще, спущенным сверху представлениям о ней.

Помню, как в глубоко советские годы в моей тогдашней компании веселились по поводу обнаруженной кем-то из нас статьи из какой-то газеты, где клеймились всевозможные отщепенцы, распространявшие “клеветнические факты”. И это не так смешно, как это может показаться, и это вовсе не должно восприниматься как потешный оксюморон, потому что это полностью укладывается в железную логику символического мира.

В символическом мире в символ превращается все. В том числе и объекты материальной культуры. Так, прошедшим летом символами стали санкционные продукты, а их публичное ритуальное истребление приняло форму мрачной мистерии.

Признаки семиотической катастрофы видятся в том, что знак и денотат прямо на глазах теряют свою устойчивость, они перестают быть означаю-

щим и означаемым, они своевольно перетекают друг в друга, они непринужденно меняются ролями, и тогда символ становится грубой реальностью, а реальность — эфемерным, ускользающим символом.

Так называемые ролевые игры — это символические битвы и сражения. Но в наши дни свихнувшиеся от своих игр, заигравшиеся “ролевики” взяли за несимволическое оружие и принялись совершенно не символически убивать совсем не символических, а вполне реальных людей.

Реальность становится картинкой в телевизоре, компьютерной игрой, “фоткой” в смартфоне, перепостом в Фейсбуке, а символ обретает способность к самым решительным и, главное, вполне реальным действиям, включая убийства, которые в свою очередь и сами практически сразу же становятся знаком, картинкой, летучей строчкой в ленте новостей, не задевая толком ничьих чувств, кроме, конечно, чувств тех, кого это касается лично и непосредственно, да и то не всех.

“Да не обращайтесь вы внимания! — говорят некоторые. — Это же все только слова. Что вы так волнуетесь? Пусть болтают. Какая, в конце концов, разница, какой тут будет стоять памятник и какой

висеть флажок? Какое вам дело до того, как они называли улицу, как они называли вас и как они называли себя? Это же все не имеет прямой связи с реальной жизнью!”

Да, связи не имеет, в этом-то все и дело. Потому что это более или менее сама жизнь и есть.

С анекдота мы начали, анекдотом, пожалуй, и закончим. Все помнят, конечно, очень старый и на первый взгляд легкомысленный, хотя и довольно мудрый анекдот, заканчивающийся недоуменным вопросом: “Жопа есть, а слова нет?”

Помните, да? Так вот, если перефразировать эту прославленную крылатую формулу, то можно сказать, что в наши дни уж скорее наоборот: слово-то как раз есть.

Или еще что-нибудь

Ну да, врут. Врут все время. И понятно, что к этому вроде бы пора привыкнуть, а привыкнуть не получается. Поэтому всякий раз приходят изумление и недоумение: “Как же так можно? Все же всё видят! Все же всё помнят! Мы же точно и достоверно знаем, что... Он же только месяц назад говорил, что... Как же можно...”

Все развлекают друг друга и развлекаются сами, ловя их на очередном очевидном вранье.

Ну и что?

Да, всеобъемлющее вранье стало чем-то вроде этикетной нормы. То есть как это не надо врать? А что надо? Правду, что ли, говорить? Что я, дурак, что ли?

Говорит правду, не врет только дурак. Потому что он не умеет даже соврать как следует. Потому что всем же давно известно, что “не обманешь — не продашь”.

Правду говорить легко и приятно, говорите? Ну и где вы с вашей правдой? То-то же!

Тотальное вранье — явление, мягко говоря, не новое.

Коммунистическая власть тоже врала, да еще как! Но не так, иначе.

Про коммунистических вождей всех уровней даже и нельзя сказать, что они вдали. Они говорили, в общем-то, правду. А правдой — единственной и неоспоримой — было все то, что публиковалось в одноименной газете.

Им и врать не было никакой необходимости. Они лично и персонально не вдали. От этой необходимости их избавляло государство, посредством соответствующих институтов и отделов ЦК централизованно производившее и выпускавшее в оборот тотальное вранье, которое они лишь ритуально по-

вторяли, не тратясь даже не только на сколько-нибудь индивидуальную лексику и фразеологию, но даже на собственные мимику и интонации.

Они никогда в своем публичном дискурсивном поведении, как и в своем внешнем облике, не допускали никакой отсебятины. Да им и вопросов-то никто никаких не задавал. Они сами задавали вопросы. Сами же и отвечали.

В наши дни можно, конечно, сказать, что само по себе вранье уже и не считается враньем, хотя бы потому, что из коммуникативного обихода практически исчезла такая категория, как “правда”.

Да, при коммунистах правдой была прежде всего одноименная газета. А когда исчезла газета, вместе с ней исчезла и сама “правда”.

Но нет, это слово все же употребляется. В том числе и теми, кто привык беспрерывно и вполне открыто врать, честными глазами глядя в глаза изумленному собеседнику. А это значит, что оно все же требует хоть какого-нибудь содержательного наполнения.

В наше время и в нашем месте такие базовые для всех обществ, нормальное функционирование которых обеспечено общественным договором, ка-

тегории, как правда или неправда, в принципе утратили свои инструментальные возможности.

Сказанное может совпадать с реальностью, а может и не совпадать, но это не имеет ровно никакого значения.

Содержательность и ценность любого высказывания определяется лишь с точки зрения достижения или недостижения его цели.

Именно поэтому вопрос о том, соответствует или не соответствует действительности какой-нибудь разоблачительный сюжет, вообще выносится за скобки. Какое, мол, ваше дело. Ворует, не ворует, заказал убийство, не заказал убийство, есть вилла, нет виллы... Вам-то что!

Важно же вовсе не это. Важно лишь то, кто за кем стоит, кто кому и зачем заказал, кому выгодно, что за этим кроется и сколько за это заплачено.

Правды или неправды не существует в принципе. Существуют лишь частные или групповые интересы и их увлекательные драматические хитросплетения.

Если при советской власти правда считалась понятием классовым, то в наши дни, лишенные какого бы то ни было идеологического обеспечения, существует правда “наша” или “не наша”. И “наша”

правда является правдой не потому, что она правда, а потому что она “наша”.

“Сила в правде, брат”, — повторял, как заклинание, один когда-то популярный киногерой. “А правда-то в чем?” — нельзя не спросить. Но никто не ответит. А если уж спрашивать слишком упорно, если приставать с этим бестактным вопросом слишком уж навязчиво, то, пожалуй, и объяснят.

Например, в суде.

И эти объяснения, как и полагается, будут иметь и форму, и содержание. Форма, впрочем, примет форму невнятной судейской скороговорки, а слово “содержание” станет вполне понятным лишь в контексте словосочетания “содержание под стражей”.

И тогда станет вполне понятным, что, разумеется, все ровно наоборот. Что правда — это право силы, брат. И больше ничего.

А еще “правдой” является то, чего “мы не узнаем никогда”, как с усталыми снисходительными интонациями любят нас уверять очень пронизательные люди. Видимо, в осознании фатальной невозможности узнать правду заложены природная мудрость и поучительный жизненный опыт — сын ошибок трудных.

А еще бывает “правда жизни” и “художественная правда”. И это совсем разные вещи.

И похоже на то, что сегодняшнее понимание “правды” — это скорее понимание правды как правды художественной.

А поэтому ловить их на очевидном вранье — это такая же нелепость, как пытаться убедить автора поэмы или ее читателя в том, что коты, даже ученые, в принципе не могут ни песен заводить, ни, тем более, сказок говорить.

“Сказка — ложь”, как было сказано. Сказка, конечно, ложь. Но в ней хотя бы есть намек. Причем намек, понятный добру молодцу. А тут какой намек? На что намек? Кому?

Напоследок позволю себе впасть в смертный грех самоцитирования. В одном из давних моих текстов есть в том числе и такое место:

“Если сказано «сегодня четверг» в четверг, то это и значит, что сегодня четверг. Если же сказано «сегодня четверг» в пятницу, то это уже либо ложь, либо заблуждение, либо еще что-нибудь”.

В данном случае — это, разумеется, и ложь, и заблуждение. Но явно и “еще что-нибудь”. Вот только что?

Разные вещи

“Честно говоря, я в отчаянии”, — говорит один. “А я все чаще впадаю в уныние”, — говорит второй. “Ну, это более или менее одно и то же”, — говорит третий. “Да нет, — говорит четвертый, — это совсем не одно и то же”. Этот четвертый, допустим, — я. Потому что я действительно полагаю, что это разные вещи.

“Вот что мне иногда не нравится в вашем поколении, — разоткровенничался однажды, лет пять-шесть тому назад, один симпатичный интеллектуал из молодых, — мне не нравится то, что вы упорно

продолжаете мыслить в категориях противостояния всему советскому. И продолжаете питаться энергией этого противостояния. А ведь сейчас совсем другое время..” — “Другое, согласен..” — “Совсем другие вызовы..” — “Вызовы другие, да..” — “И поймите, наконец, что советское исчезло навсегда и больше никогда не вернется”. — “Не вернется, ага, с чего бы ему возвращаться..”

Конечно, не вернется, зачем? Ничего никогда не возвращается в буквальном виде. Иногда возвращаются, вернее, вспоминаются, и иногда необычайно ярко и пронзительно, лишь забытые или полузабытые ощущения.

В последнее время я ловлю себя на тех давних, но прочно засевших в памяти ощущениях, которые постепенно, но неуклонно возвращаются, поочередно высветляя все детали и мелкие подробности, на тех ощущениях 70–80-х годов, когда дистанция разрыва с социальной реальностью достигла такого масштаба, что ровную брезгливую тоску незаметно сменило нечто вроде веселого отчаянного любопытства: “Ну? А теперь они чего удумают? А теперь что будет? А дальше что? Вот просто интересно..”

Это было именно отчаяние. А вовсе не уныние.

Уныние парализует творческую и социальную волю. Отчаяние иногда мобилизует те внутренние творческие ресурсы, о которых мы и сами иногда не подозреваем.

В тридцатые годы прошлого века в интеллигентской среде была необычайно популярна пущенная кем-то мрачная острота “Не теряйте отчаяния”.

Была она популярна и в годы моей молодости.

Этика и поэтика той среды, принадлежностью к которой я бесконечно дорожил и дорожу по сей день, ее культурные и поведенческие коды и кодексы формировались в поздние советские годы, формировались на ровном, монотонном и привычном, как вечная ржавая полоска на дне кухонной раковины, фоне экзистенциального отчаяния. Оно, отчаяние, как ни странно, необычайно способствовало нашему сплочению и жадному взаимному интересу, властно стимулировало и провоцировало новые художественные идеи.

“Можно пьянеть от ощущения внутреннего родства”, — написал я однажды в одном из своих текстов 70-х годов. И мы действительно хмелили от этого ощущения. Хотя — не стану врать — и не только от него, но от него главным образом.

Мы ощущали невероятную легкость в движениях, легкость, которую давало полное освобождение от балласта иллюзий.

И мы приучили себя настолько не чувствовать под собою страны, что уже практически парили над ней, сами изумляясь собственной невесомости.

Мы налегке пускались в увлекательные путешествия, легкомысленно обгоняя на несколько кругов свою неповоротливую эпоху, на которую мы просто махнули рукой.

Отчаяние, как оказалось, чувство продуктивное и творческое. Не уныние, нет. Именно отчаяние.

Я хорошо помню, а в последнее время по вполне очевидным причинам вспоминаю все чаще и чаще, как возрастающий градус отвращения именно к стилистической составляющей всего происходившего вокруг нас стал принимать отчетливые признаки интоксикации.

И тогда некоторые из нас эмпирическим путем нашли противоядие, явленное в виде, например, концептуального искусства и соц-арта. Важно, что в те годы стратегией и того и другого не была стратегия влияния. Это была стратегия личного выживания.

На официальной сцене тех лет шел совершенно неинтересный разговор о том, какое искусство “нужно народу”, а какое не нужно.

Этот разговор существовал помимо нас. Мы знали, что есть вещи куда интереснее, важнее, прочнее и уж точно понятнее. Думать надо лишь об одном — нужны или не нужны мы друг другу.

А в наши дни отчаяния нет. Есть тревога, есть едкое, отравляющее душу отвращение, есть тошнотворное ощущение пустоты под ногами, и это ощущение, увы, не похоже на ощущение полета.

А отчаяния почему-то нет. Есть лишь безумная, не основанная ни на чем, парализующая волю надежда. Надежда на то, что как-то все, что надо, произойдет. Само собой. Без нашего участия. Вполне возможно, что и произойдет. И скорее всего, действительно без нашего участия. А история, даже тот ее фрагмент, что длился и продолжает длиться на нашей памяти, учит тому, что все то, что происходит без нашего участия, лишено какой-либо ценности, лишено всего того, чем можно и нужно дорожить. А потому и всегда недолговечно.

По-настоящему надежный и по-настоящему поучительный опыт — это лишь свой собственный

опыт. А чужой, в общем-то, никого ничему научить не может. А если он и может быть полезен, то лишь как фон, подтверждающий или подвергающий сомнению собственную правоту.

Вот и наш, и мой опыт, скорее всего, никого ничему не научит. И я даже очень надеюсь, что никому он не понадобится и не пригодится. Но он есть, этот опыт. И он есть такой, какой он есть. Как, впрочем, у каждого из нас.

Принцип относительности

Даже на фоне невероятных событий последних нескольких лет, событий, в очередной раз расколовших и продолжающих раскалывать общество, наибольшее впечатление на многих производят эти пресловутые рейтинги, эти безысходные восемьдесят с чем-то процентов. Именно они вгоняют многих в тоскливое недоумение, в ступор, в оцепенение.

“Ну о чем можно вообще говорить, на что можно вообще надеяться, если большинство...”

Ну, большинство, и что? Как будто бы большинство когда-нибудь что-нибудь решало. Как буд-

то бы неизвестно, что производством истории всегда занималось меньшинство.

И всегда все зависело и зависит лишь от степени активности и адекватности этого меньшинства, то есть в данном случае всех тех, кто нашел в себе силы удержаться от сомнамбулических коллективных танцев под лунной под звуки шаманского бубна.

Большинство и меньшинство — понятия не абсолютные.

В принципе любой человек принадлежит одновременно и к большинству, и к меньшинству.

И все зависит лишь от того, к какой из этих категорий ему интереснее и комфортнее себя отнести. Я, например, с довольно ранних лет считал для себя честью относить себя именно к меньшинству.

Не к любому, разумеется. Есть меньшинство и меньшинство. Криминальный мир, например, тоже в меньшинстве, по крайней мере в более или менее упорядоченных обществах.

Но для меня всегда было важно причислять себя к меньшинству — творческому, критичному, нонконформистскому. И ничего в этом смысле с тех пор не изменилось и измениться не может.

Сложнее случаи, когда отнесение субъекта то к большинству, то к меньшинству зависит от тех

или иных риторических выгод и удобств. В этом смысле факт шизофренического раздвоения на всех уровнях стал уже общим местом.

Вот, например, постоянная апелляция к статистическому “большинству”, к пресловутым “процентам”, которые всегда правы, на том основании, что они — проценты. Это с одной стороны.

И вместе с тем мне приходилось примерно от тех же людей, гремящих, как младенческой погремушкой, “процентами”, слышать о том, как герой-одиночка (это, конечно, российский президент) в окружении враждебного большинства (это, понятно, мировое сообщество) подобен едва ли не распинаемому, но воскресающему Христу.

Впрочем, эта более чем смелая аналогия по не очень сложной цепочке ассоциаций немедленно актуализирует не столько тему пострадавшего за все человечество Спасителя, сколько полузабытую уже тему “Богородицы”, а точнее — адресованного к ней широко известного призыва.

Но чаще, конечно, размахивают процентами.

Ну, допустим, большинство всегда право лишь на том основании, что оно большинство. Допустим.

Но если это вдруг и так, то тогда уж давайте не ограничиваться большинством отдельно взятой страны, пусть даже и такой большой. Почему же не считать большинством большинство государств, входящих в те же международные организации, куда входит, между прочим, и Российское государство. Такое большинство называется на официальном языке “мировым сообществом”, и это сообщество думает совсем не так, как ваше “большинство”.

Большинство земного населения, например, не умеет читать и писать, оно безграмотно. Является ли это примером для подражания для меньшинства?

Да и что такое меньшинство? В меньшинстве, если вдуматься, может оказаться любой.

В меньшинстве, например:

- больные среди здоровых;
- здоровые среди больных;
- штатские среди военных и наоборот;
- человек, умеющий играть на скрипке, находящийся среди людей, не имеющих играть на скрипке;
- человек, не умеющий играть ни на чем, но случайно оказавшийся в оркестровой яме;
- коммунист, оказавшийся в компании антисоветчиков;

— гетеросексуал, случайно забредший в гей-клуб.

Да мало ли кто еще!

Каждый человек есть представитель меньшинства. Просто он об этом вспоминает лишь тогда, когда вдруг ощущает на себе дискриминацию со стороны большинства. И начинает вспоминать о своих правах. А следующий важный шаг — то есть помнить о правах других — требует уже дополнительных усилий.

Понятия “большинство” и “меньшинство” находятся между собой в непростых отношениях и не всегда измеряются в процентах.

Не так давно я получил такой комментарий к одному из своих текстов, где речь шла о пресловутых “оскорблениях чувств”:

Если вдуматься, запрет на оскорбление чувств верующих идеально вписывается в концепцию политкорректности. Верующие, во всяком случае православные, — меньшинство (по всем опросам, в храмы регулярно ходит никак не более 5% населения), в недавнем прошлом подвергавшееся страшному террору, в том числе массовому физическому уничтожению. По всем правилам полит-

корректности православные должны быть объектом позитивной дискриминации — находиться под особой защитой общества и государства, иметь разнообразные преимущества, должны быть выведены из-под критики, любое неприязненное, неуважительное высказывание в их (наш) адрес должно иметь серьезные негативные последствия для говорящего (выкидывание из приличного общества, крах карьеры), ну, и далее по списку. Так что люди, считающие недопустимыми сексистские или расистские высказывания, должны обеими руками поддерживать запрет на оскорбление чувств верующих. Если, конечно, есть стремление к элементарной честности перед самим собой.

И вот что я ответил:

Формально вы вроде бы все верно говорите. Верующие на самом деле составляют меньшинство. Хотя многие из тех, кто выступает от их имени, утверждают, что они именно в **БОЛЬШИНСТВЕ** и именно на **ЭТОМ** основании считают себя вправе диктовать обществу правила поведения. Это одна сторона дела. Другая заключается в том, что если бы,

например, представители ЛГБТ-сообщества или сообщества инвалидов при попустительстве и при поддержке государственных учреждений, в том числе и силовых, самовольно и безнаказанно устраивали бы погромы в концертных, театральных или выставочных залах, едва ли мое сочувствие было бы на их стороне. Не знаю, как ваше. Религиозное меньшинство я однозначно поддерживал в советские годы, когда это меньшинство находилось под реальным прессом государственной идеологии и государственной практики.

Что же касается “большинства” как субъекта социальной воли, то я могу сказать, что я большую часть своей жизни прожил в СССР, где, судя по плакатам, лозунгам и газетным кричалкам, не большинство даже, а весь без исключения советский народ горячо одобрял и поддерживал все что ни попадя. Да еще при этом испытывал “чувство глубокого удовлетворения”.

Ничего никто, разумеется, не одобрял и не поддерживал. Ну, допустим, кто-нибудь из завсегдатаев пивного ларька, или рьяный дружинник-комсомолец, или крикливая тетка из очереди за селедочны-

ми хвостами могли тебя огорошить сакральным вопросом: “Тебе что, советская власть не нравится?” Могли, да. И это вовсе не означало, что они сами были от нее так уж прямо без ума.

И среди этого нынешнего статистического большинства активных и убежденных любителей президента, а также призрачной, а оттого и особенно лакомой “империи”, войн “до победного конца” и расправ с “пятыми колоннами”, не так уж и много, я уверен. Во всяком случае ничуть не больше, чем тех, кто против.

А в остальном, слегка перефразируя популярную цитату, можно сказать: “Люди как люди. Вот только телевизионный вопрос их испортил”.

А о соцопросах, рейтингах, процентах и всенародных довериях и поддержках я вот что думаю.

Поддерживать, доверять и одобрять и *сообщать* о поддержке, доверии и одобрении — это совсем, мягко говоря, не одно и то же.

Здесь редко уважают начальство. Об уважении и даже любви говорят лишь тогда, когда боятся.

Страх вообще очень часто прикидывается уважением, любовью, восхищением.

Признаваться самому себе в страхе может лишь человек, склонный к повышенной рефлексии, а таких немного.

Так что если эта вся социология чем-то и интересна, если она и побуждает к размышлениям, то лишь к размышлениям не о том, почему *доверяют*, а о том, почему *говорят*, что доверяют.

Большинство, мне кажется, вовсе никого и ничего не поддерживает. Если оно, “Его Величество Большинство”, что-то и поддерживает, то одной рукой оно поддерживает собственные штаны, чтобы не свалились, а другой — шапку, чтобы не стянули прямо с головы.

Осторожно: метафора

Приходится с горечью признать: мы стремительно отвыкаем изумляться. А точнее — просто не успеваем. И это плохо, хотя и сказал когда-то один очень древний китаец, что “совершенномудрый не должен удивляться ничему, кроме смены времен года”. Нет, все равно это плохо. Удивляться надо.

В потоке новостей — одна другой фантастичней — мы откликаемся лишь на то, что резонирует с тем или иным из наших внутренних мотивов, что по ритму и тональности совпадает с какой-нибудь нашей внутренней неотвязной песней.

Так я рефлекторно встрепенулся, прочитав недавно, что некий официальный, специально назначенный для такого дела правозащитник высказался в том духе, что не надо, мол, так болезненно реагировать на грозненские интернет-картинки с оптическими прицелами и песьими клыками, потому что это никакие вовсе не прямые угрозы, как кому-то почему-то почудилось, а всего лишь, знаете ли, метафоры. Ну, типа, учитесь, ребята, отличать прямые смыслы от переносных. Что вы как дети, ей-богу! А еще считаете себя интеллигентными людьми. Вы про метафору, что ли, никогда не слышали?

Почему ж не слышали? Слышали.

Метафоры и их внезапные, не всегда даже и предусмотренные различными метафоротворцами материализации — одна из моих излюбленных тем. Я тоже люблю часто и увлеченно рассуждать о том, что именно умение различать прямые и переносные смыслы различных высказываний и жестов есть одна из основных черт цивилизованного человека. И, соответственно, наоборот.

Я тоже люблю говорить о том, что, например, искусство, что бы каждый из нас ни понимал под этим словом, в принципе не должно и не может

оскорблять ничьих чувств именно потому, что оно метафорично. Именно потому, что художественный эффект строится в том числе и на мерцании прямых и переносных смыслов.

В общем-то эстет из Совета при президенте формально прав.

Да, мы окружены метафорами, и это правда. Да, того, кому придет в голову обвинить задержанную мамашу, говорящую шумливому и вертлявому ребенку: “Если немедленно не замолчишь, я тебя убью”, в том, что она угрожает жизни ребенка, мы в полном праве счесть либо просто дураком, либо бессовестным демагогом и при этом все равно дураком.

Да, неумение отличать переносные смыслы от прямых есть признак понятно чего.

И эти веселые картинки с ружьями и оскаленными песьими мордами можно, конечно, считать метафорами. Почему бы и нет?

Ну да, грубые, примитивные, тупые и злобные. Но ведь метафоры же!

А метафора и будет оставаться метафорой, пока вдруг не разметафоризируется.

Ну, а тогда и разговор другой! Как говорится, когда убьют, тогда и приходите.

Так, в разные времена и в разных государствах существовали до поры до времени такие популярные метафоры, как “Если враг не сдастся, его уничтожают” или “Die Juden sind unser Unglück”. Потом, и даже очень скоро, они перестали быть такими уж метафорами. А до этого были, да.

И в наши дни существует множество подобных метафор. Ну, по принципу: “Мимо пятой я колонны без метафор не хожу. То винтовкою прицелюсь, то Тарзана покажу”.

Я, в общем-то, понимаю, что имел в виду казенный правозащитник. И я вполне ценю, что он по крайней мере знает, что такое метафора, хотя и употребляет этот термин на мой вкус чрезмерно расширительно.

Беда лишь в том, что творцы этих метафор едва ли знакомы с такими аристотелевыми тонкостями. Какие такие метафоры, если всё — проще некуда. Если понятно, что надо сначала попугать и показать клыки, а там уж — по обстоятельствам.

Пока люди, причастные к искусству, уже много лет занимаются определением и перемещением границ между территорией искусства и территорией реальной жизни, между метафорой и прямым

действием, ребята, которые вообще не понимают, что эти границы существуют, которые не только не понимают, что такое метафора, но и слова-то такого не знают — даром что академики, — легко и непринужденно перемещаются туда-сюда сквозь эти границы, вроде как перелетные птицы или звери лесные, пребывающие в блаженном неведении о самом существовании каких бы то ни было границ.

А поэтому от воинственных “метафор” в социальных сетях они легко переходят к другим, более чувствительным метафорам, например к метаниям совершенно не метафорических тортов в живых, совершенно не метафорических людей.

Ну и что такого, казалось бы? Ну, напали на человека, да. Ну да, люди горячие, искренние. Как умеют, так свои чувства и выражают. Нехорошо, конечно, что и говорить. Но ведь не убили же, правда? А ведь могли.

Не убили же, не покалечили. Просто пошутили. Ну, типа, метафора. А метафора — она и есть метафора.

А что, плохая шутка, что ли? Тортом! В физиономию! Не смешно разве? Чарли Чаплина видели? Ну, если не понравилось, в следующий раз пошутим

поинтереснее. Метафоры, говорите? Ладно, будут вам метафоры. Такие вам будут метафоры, что не обрадуетесь. “Кто не понял, тот поймет”.

Если взять и сознательно опуститься на этот уровень, то, допустим, можно было бы включиться в состязание метафор, как это делали герои исландского эпоса, которые долго и виртуозно обзывали друг друга всякими интересными словами перед тем, как непосредственно приступить к делу, то есть к взаимному мочилову. В ответ на “оптический прицел” применить, скажем, метафору с крылатой ракетой. А потом ждать метафоры с авианосцем и ответить метафорой с водородной бомбой. Но ведь глупо же..

И не только в этом дело.

Дело еще и в том, что право на “метафору”, как и лицензию на отстрел, дают не всем и не каждому. И это хорошо, и даже слишком хорошо знают все те, кого судили и сажали именно что за метафоры. Причем безо всяких кавычек. И этого по идее не может не знать уполномоченный по правам, а по совместительству специалист по метафорам.

Да и само определение такого сложного, в общем-то, понятия, как “метафора”, рискует в этом контексте сузиться до представления о том, что ме-

тафора — это когда обещают убить, но до поры до времени не убивают. А если убивают... Ну, а если убивают, то это, в общем-то, тоже метафора, но уже чуть-чуть другая.

И если впустить это важное и прекрасное понятие именно в таком его значении в дискуссионное пространство, то, боюсь, можно будет распрощаться и с этим словом, с помощью которого еще совсем недавно можно было многое объяснить или хотя бы поспособствовать взаимному пониманию. Можно будет распрощаться с ним, как пришлось в свое время распрощаться с такими потерявшими какие бы то ни было внятные значения словами, как, например, “патриотизм” или, прости господи, “духовность”. Очень будет жаль, если честно.

Комбижир

У каждого поколения соотечественников свой чувственный опыт. И из каждой эпохи, особенно той, на которую пришлось наше детство, тянутся за каждым из нас свои навязчивые мелодии, свои картинки, свои словечки и прибаутки, свои запахи.

Вот, скажем, помнит ли кто-нибудь из тех, кто помоложе, такое не слишком благозвучное слово, как “комбижир”? А я не просто помню, не просто не могу забыть (хотя и ужасно этого хочется) это мучительное слово, но и время от времени явствен-

но ощущаю его незабываемый дух. Тот самый дух, который доносился из коммунальной кухни, когда соседка Клавдия Николаевна жарила тресковое филе на этом самом комбижире.

Я никогда не знал, не знаю и до сих пор и не очень, честно говоря, хочу знать состав этого уникального пищевого продукта. Но уникальный этот запах актуализируется в моей чувственной памяти время от времени. А в последнее время — все чаще.

Этот запах, на правах основного и доминирующего входивший в общий незабываемый букет из духа подвальной сырости, прелой капусты, кошачьих проказ и засоренного сортира, снова донесся до меня буквально на днях, а именно 5 марта, когда я вновь с неизбежностью окунулся в разношерстные новости и разнообразные разговоры, связанные с историческим событием, случившимся в тот же день, хотя уже и много лет тому назад.

Когда слышишь или читаешь высказывания некоторых людей — даже не самых глупых, не самых тупых и необразованных, — первым делом хочется открыть форточку. Потому что первое ощущение — это ощущение тяжелой духоты. Ну, и комбижир, разумеется.

Дискутировать с некоторыми людьми на некоторые темы, такие, например, как “Сталин”, “Крым”, “Русский мир” или “Хочет ли Америка нас погубить-расчленивать”, так же примерно странно и неловко, как объяснять анекдоты.

Вот мы слышим, допустим, нечто вроде такого: “Сказали же вам уже давно наши славные компетентные органы, что Катынь — это дело рук немцев, а вы опять за свое! Лишь бы только... И кто за вами, интересно, стоит? И не дает вам покоя наша славная история! И конечно, как всегда, во всем мы виноваты”.

“Мы”? Кто “мы”? Те, для кого палачи, вертухаи и стукачи всех поколений, объединенных металлическим именем и усатым портретом, — это “мы”, для диалога в принципе непригодны.

Им, конечно, интересна никакая не истина и не то, что и как было на самом деле. Им интересно прежде всего, “кто за кем стоит”. Недаром же я всегда был уверен, что психологию, этику и эстетику как советского, так и постсоветского человека сформировал такой социально-культурный феномен, как очередь.

Представления о стабильности и порядке, мире и благоденствии сводимы все к той же самой — стро-

гой и стройной, никем не нарушаемой полукилометровой очереди за фрагментами коровьего скелета. Ну, или за тем же комбижиром. Да и не так уж и важно, за чем стоит эта очередь. Важнее всего — кто за кем стоит. Потому что “порядок должен быть”. Тот самый порядок, который “был при Сталине”.

Казалось бы, ну нет уже давно этого проклятого комбижира. И слово такое уже мало кто помнит. Так почему же до сих пор никак не может выветриться его незабываемый дух? Почему этот дух отечества столь, по-прежнему, сладок и приятен?

Откуда берутся эти люди, когда уже давно нет ни коммуналок, ни окраинных бараков, ни этих самых очередей. Не знаю, право. Знаю только, что были, есть и, скорее всего, будут и дальше существовать люди, для которых истина, добро и красота навсегда воплотились и воссоединились в образе вырезанной из ржавой жести и выкрашенной красной краской звезды, венчающей лагерную вышку.

Изолента

Я думаю время от времени о том, по какой такой причине многие, очень многие из моих соотечественников столь облегченно и даже восторженно воспринимают вполне возможную перспективу изоляции страны от мирового сообщества. Почему они столь радостно и энергично, по-собачьи отряхиваясь от истории, от цивилизации, от базовых категорий современного мира, от мучительного, но спасительного опыта человечества, погружаются в цельный, нерасчленимый миф, где в самой даже гипотетической

возможности критики и анализа видится смертельная угроза для этой вожделенной цельности.

Ну, допустим, с чекистами из “Озера”, углеводородной шайкой и агитпроповской дворней более или менее все ясно, вопросов особых нет.

Чуть менее понятно со статистически внушительной частью народонаселения, от темечка до пяток пропитавшейся неистребимым колхозным духом, непостижимым образом воспроизводящимся уже бог знает в каком поколении вопреки всякому диамату, утверждавшему когда-то, что лишь бытие определяет сознание. Бытие-то, казалось бы, вроде бы уже другое, а сознание все то же. Чудеса!

И уж совсем непонятно с так называемой образованной частью населения, уже кое-чего прочитавшей, кое-чего увидевшей и услышавшей, кое-где побывавшей и твердо усвоившей, что бутылки с вином надо хранить в лежачем положении, а устрицы различаются по номерам.

Думаю, что все это местный, самобытный вариант вечной, непреодолимой тяги к эмансипации, к персональному и коллективному освобождению, того самого стремления, которое, собственно, и движет историю в ее современном понимании.

Это тоже стремление к освобождению. К освобождению от утомительной рефлексии, от насущной необходимости сравнивать себя с другими, и часто, увы, не в свою пользу, от необходимости учиться и сдавать экзамены на соответствие определенному уровню, от неприятной обязанности время от времени смотреть на себя со стороны. Это освобождение от всего того, что в совокупности именуется современной цивилизацией.

“Не надо нам ничего этого вашего. Своим умом проживем. В соответствии со своими традиционными ценностями”. И тем сильнее привязанность к этим “ценностям”, чем очевиднее полная невозможность сформулировать или хотя бы обозначить эти самые ценности в сколько-нибудь внятных категориях. “Ценности, и все тут! Какие-какие! Такие! Сказали же вам — тра-ди-ци-он-ны-е! Чего тут непонятного-то!”

Современный мир сложен, да. А от этого и возникает неперемное стремление “впасть, как в ересь, в неслыханную простоту”. Понять можно. А оправдать — нет. Потому что радостный, с двумя притопами и тремя прихлопами отказ от сложно-

сти, а значит от современности, неизбежно превращает страну в ошестинившееся захолустье.

Именно в ошестинившееся захолустье, завравшееся и зарвавшееся, без устали гордящееся своей способностью — неважно, мнимой или реальной — устроить вселенскую смазь в мировом масштабе. А ведь тупость и неповоротливость в сочетании с проворной шкодливостью на многое способны, это правда.

Принято считать, что всем этим правят и рулят либо деньги, либо политические и человеческие амбиции.

Это отчасти так и есть. Но мне кажется, что тут еще и “строку диктует чувство”. И это чувство — неоформленное, властно ищущее выхода наружу — чувство иррациональной, неконтролируемой, хотя и умело направляемой ненависти. А ненависть всегда первичнее, чем ее объекты, которые подворачиваются под руку сами собой.

Эта никогда не удовлетворяемая похоть обращает, оформляется, обеспечивается любой валяющейся поблизости идеологией или чаще плотным тупым мифом — чем более бессмысленным и более отдаленным от базовых категорий современного мира, тем он надежнее и соблазнительнее.

На всем практически протяжении российской истории “Мы лучше всех” меняется время от времени на “Мы хуже всех”, а потом обратно. Меняется всегда неожиданно, всегда стремительно, никогда не оглядываясь по сторонам и не отвлекаясь по пустякам, всякий раз проскакивая, зажмурившись, мимо вроде бы очевидного, но при этом мучительно невыносимого “Мы как все”. Так же примерно, как неисправный лифт не может остановиться на нужном этаже, всякий раз то поднимаясь выше его, то опускаясь ниже.

В этой вечной “неисправности лифта” тоже кроется одна из причин стремления к изоляции.

Изоляция — это легитимация беззакония и произвола, потому что больше некого и нечего стесняться, не своих же людишек в конце-то концов.

Это бунт пациентов психушки против медицинского персонала. В случае успеха можно не только самим окончательного уверовать в то, что “мы тут и есть самые настоящие наполеоны и македонские, а также чингисханы и тамерланы”, но и вполне безнаказанно, всеми способами, включающими прямое насилие, внушать это окружающим.

Это узаконенные этика и эстетика лагерного барака, одичавшей дворняжьей стаи или дворовой

кодлы, где никакое право, кроме права силы, наглости, рептильной изворотливости и тупого нахрапа, даже и не рассматривается как сколько-нибудь серьезное.

Стремление к изоляции и стремление к ее преодолению во все времена делили общество на две неравные части. А сама изоляция — то укрепляемая, то ослабеваемая — в разные времена приобретала разные эстетические, стилистические признаки.

Так же, как менялся на протяжении моей жизни внешний вид изоляционных лент, которые электрики называли просто “изоляцией”. В раннем моем детстве эти ленты были одинаковыми — темно-серыми, мрачными и аскетичными. Чуть позже появились и синие. В 70-е годы появились и синенькие, и красненькие, и зелененькие, но купить их было трудно, как, впрочем, и все остальное.

В наши дни вещественным символом изоляции стали повсеместно бросающиеся в глаза полосатые ленты, посредством которых пытаются хоть как-то укрепить расползающийся по всем швам картонный ящик, густо обматывая и обвязывая его со всех сторон этими изолянтами.

Эпилог

Будущее прошло

Есть такая расхожая фраза: “У этой страны нет будущего”.

Сейчас эта стертая формула как-то почти узаконена. Причем на самом высоком уровне. Категория будущего в официальной риторике практически отсутствует.

В СССР когда-то из всех сил, из всех родов оружия культивировался миф “светлого будущего” (а симметрично — и “проклятого прошлого”), и именно этому утопическому идолу многие годы приносились избыточные жертвы, в том числе и человеческие.

Но этот же миф, эта утопия сумели подстегнуть к вполне реальным и искренним творческим порывам множество молодых и немолодых людей, соблазненных и одержимых пусть и не совсем внятной, но от этого еще более интригующей идеей “нового мира” и убежденных в том, что и форма, и содержание этого грядущего мира будут во многом зависеть от их усилий, от их личного и коллективного энтузиазма.

Пропагандистская риторика тех лет, базировавшаяся на адаптированном к нашей неизбывной самобытности марксизме, оперировала, с одной стороны, такими зловещими категориями, как диктатура, пусть даже и пролетариата, с другой же — такими, как, например, научное мировоззрение. А потому культивировалось почтительное отношение к науке вообще, да и к культуре тоже. А если то или иное направление в науке третировалось как “лженаука” или даже “продажная девка империализма”, это лишь подтверждало неподдельный интерес и отеческую заботу государства о “самой передовой науке”.

Ну, и будущее, разумеется. И оно, будущее, всегда было важнее настоящего, каким бы лучезарным это настоящее ни представало со страниц газет и в кинохронике. Настоящее всегда было лишь про-

логом к уже окончательно совершенному будущему, постоянно маячившему в исторической перспективе, как вожделенная морковка перед мордой осла.

Сначала “будущим” был социализм, который строили в одной отдельно взятой стране. В какой-то момент строить его надоело, и было объявлено о его полной победе, а также о том, что жить стало лучше, жить стало веселее. Это спущенное сверху бурное веселье, явленное в виде кинокартины “Волга-Волга” и Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, непринужденно сочеталось с энергичными мероприятиями, связанными с обострением классовой борьбы, которая с каждым годом обострялась настолько, что в огромной стране уже не хватало мест для новых лагерей.

Это время, впрочем, я знаю в основном по книжкам, фильмам и воспоминаниям родителей.

А вот начало 60-х, когда общим фоном социальной жизни служил плакат “Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме”, я уже помню отчетливо. По поводу коммунизма было множество дискуссий. Не только публичных, но и, так сказать, частных. Не о том, разумеется, спорили, наступит

он или нет на самом деле — это-то как раз не обсуждалось, а подразумевалось само собой, — а о том, каким именно он будет.

Одни (их было большинство) видели коммунизм как универсальную и всеобъемлющую халяву, где всего до хриенища и все бесплатно. Другие (их было меньшинство) понимали его как окончательное и бесповоротное торжество разума, нравственных начал и свободного творческого труда, как избавление от предрассудков и родимых пятен “проклятого прошлого”. Одним словом, ни болезни, ни печали, ни воздыхания, как было сказано намного раньше и, в общем, по несколько другому поводу.

Писатели-фантасты тех лет — те, которые из “прогрессивных”, — изображали будущее как мир, заселенный исключительно умными, честными, сильными, храбрыми, при этом веселыми и остроумными людьми, лыжниками и туристами с рюкзаками и гитарами. Грядущее человечество выглядело там как разросшийся до глобальных масштабов дружный коллектив какого-нибудь научно-исследовательского института 60-х годов.

Про коммунизм было также и множество остроумнейших анекдотов. Особенно привлекательной

для устного народного творчества была повсеместно употребляемая формула, обозначавшая основной принцип коммунистического общества: “От каждого по способностям, каждому по потребностям”.

Больше шуток было, разумеется, не про способности, а про потребности, что и понятно, если учесть скромный, мягко говоря, уровень тогдашнего товарного обеспечения — “снабжения”, как тогда говорили.

Мне запомнился такой, например, анекдот. При коммунизме человек отправляется за продуктами с целью удовлетворения своих потребностей. На двери магазина он видит объявление: “Сегодня потребности в масле не будет”.

Или другой. На большом заводе выступает лектор, рассказывающий о недалеком прекрасном будущем. “Через пять лет, товарищи, каждая советская семья будет иметь собственный автомобиль. (Аплодисменты.) А через десять лет, товарищи, у каждой семьи будет свой самолет!” Голос из зала: “Товарищ лектор, а зачем же каждой-то семье нужен самолет?” — “Поясняю на примере, — говорит лектор. — Представьте себе, что вы живете в Хабаровске. А в Красноярске выбросили муку...”

К 70-м годам к “коммунизму” как-то незаметно остыли, и он окончательно превратился в ритуальную, ни к чему не обязывающую фигуру внутрипартийного этикета. Генсек ЦК КПСС товарищ Брежнев свой многочасовой, монотонный и усыпляющий, как восточный эпос, доклад на очередном съезде неизменно заканчивал словами: “Да здравствует коммунизм!” После чего делегаты вставали и аплодировали ровно столько, сколько было положено по регламенту. А потом, усталые, но довольные, веселой гурьбой шли отовариваться “по потребностям” в рамках временно построенного в одном отдельно взятом Дворце съездов коммунизма.

Но “коммунизм” уже перестал быть будущим. Он сохранялся лишь в обиходной речи граждан как рудиментарный синоним сытости и товарно-денежного благополучия. Про кое-кого так и говорили — “живет как при коммунизме”. В том смысле, что у него “все есть”.

А настоящее и будущее скомкались в одну кучу в невнятном и вневременном “развитом социализме”, творчески обогащенном Продовольственной программой и экономикой, которой почему-то было предписано непременно быть экономной.

С наступлением новых времен, когда образовался зияющий идеологический вакуум, потерялась и пленительная перспектива. Стало вдруг совсем непонятно, к чему и куда следует направлять бесхозную энергию масс.

С коммунизмом-то было проще: его никто не видел. А вот простая, казалось бы, задача — взять да и направить некоторое количество усилий, а также и гражданскую и политическую волю, чтобы просто присоединиться к современному цивилизованному миру, — оказалась невыполнимой.

Категория будущего куда-то девалась. Или в крайнем случае будущее видится как вечно длящееся настоящее, краше которого просто и быть не может. Ну чем, скажите, плохо наше настоящее? Всего достигли, всего добились, со всеми благополучно переругались. Да и хватит уже учиться у кого пошло! Не маленькие, слава богу! Учителя тоже нашлись. На себя пусть посмотрят. Еще и их поучим.

Какое будущее, если у нас и так все есть. А у них там нет ни хрена, кроме однополых браков. У нас вот, например, есть Путин. А у них есть Путин? Вот то-то же. А Крым у них есть? А у нас есть. И он наш.

И какое ваше будущее, если у нас такое прошлое! Ни у кого нет такого прошлого. А если над этим прошлым как следует поработать посредством единых учебников, то еще и не такое прошлое забавим — всем прошлым прошлое, пальчики оближешь.

А будущего нет. Совсем нет. Никакого. Его нет хотя бы уже и в том смысле, что о нем просто стараются не думать. Никто — ни власти, ни так называемые простые граждане, в том числе и те, кто умудрился в наши дни сохранить трезвое отношение к реальности и истории.

Ужасно не хочется думать о будущем, это правда. Однако надо, деваться все равно некуда. Потому что если о нем не думать, его уж точно не будет.

CORPUS 382

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН

ПРИЧИННОЕ ВРЕМЯ

16+

Главный редактор ВАРВАРА ГОРНОСТАЕВА

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Ведущий редактор ЕВГЕНИЯ ЛАВУТ

Ответственный за выпуск ОЛЬГА ЭНРАЙТ

Технический редактор ТАТЬЯНА ТИМОШИНА

Корректор ОЛЬГА ПОРТУГАЛОВА

Верстка КОНСТАНТИН МОСКАЛЕВ

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать 10.06.16. Формат 70×108 1/32
Бумага офсетная. Гарнитура "OriginalGaramondC"
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0
Тираж 3000 экз. Заказ № 3279.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
ОАО "Тверской полиграфический комбинат". 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822) 44-42-15
Home page — www.tverpk.ru. Электронная почта (E-mail) — sales@tverpk.ru

ООО "Издательство АСТ"

129085 г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5

Наш электронный адрес: www.ast.ru

E-mail: info@corpus.ru

"Баспа Аста" деген ООО

129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 кұрылым, 5 бөлме

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

E-mail: info@corpus.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі "РДЦ-Алматы" ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3^а, литер Б, офис 1.

Тел.: +7 (727) 251 5889, 90, 91, 92, факс: +7 (727) 251 5812, доб. 107

E-mail: RDC-Almaty@ekssto.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген

По вопросам оптовой покупки книг обращаться по адресу:

123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, БЦ "Империя", а/я № 5

Тел.: (499) 951 6000, доб. 574

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя.

Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.



БываюТ случАи, коГДА необХодимостЬ
выскАзАть нечТо зАведомо очевидное,
нечТо вроде того, что землЯ круглАя,
А водА жидкАя, что воровАть и вратЬ
дурно, что не следует обижАть слАбого или
не пытАться защититЬ его о т сильнОго,
требует от художественного человека не
только граждАнской, но и интеллектуАл-
ной и артистической отвАги.



СТАВШИЙ ВДРУГ ПОЛИТИЧЕСКИ
УЯЗВИМЫМ ТЕРМИН
“ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ”
НЕ ТАКОЙ УЖ И БЕССМЫСЛЕН-
НЫЙ. Ну, в общем-то, да,
АГЕНТ. АГЕНТ МИРОВОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ, АГЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА,
АГЕНТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА.
ГОТОВ ПОДПИСАТЬСЯ ПОД
ПРОТОКОЛОМ. ДАВАЙ, ГРАЖД-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК, БУМАГУ,
РУЧКУ И ЧЕРНИЛЬНИЦУ —
ВСЕ ПОДПИШУ.

Поэт, один основоположников московского концептуализма Лев Рубинштейн — едва ли не самый известный российский колумнист последних лет. В коротких, точных и едких текстах автор дает исчерпывающую характеристику событиям, находит их причину и предсказывает последствия. Но важно не только это — тексты Рубинштейна, как любая хорошая литература, настраивают зрение и слух так, что становится труднее пройти мимо подлога и фальши.

ISBN 978-5-17-097676-8
9 785170 976768
Цена: 419,00
Издательство "СП" Санкт-Петербург, 2018